

Даниил МОРДОВЦЕВ

# ВЕЛИКИЙ РАСКОЛ



Серия исторических романов

Даниил Мордовцев

**Великий раскол**

«ВЕЧЕ»

1878

## **Мордовцев Д. Л.**

Великий раскол / Д. Л. Мордовцев — «ВЕЧЕ»,  
1878 — (Серия исторических романов)

ISBN 978-5-4444-1454-5

Звезды горели ярко, и длинный хвост кометы стоял на синеве неба прямо, словно огненная метла, поднятая невидимой рукой. По Москве пошли зловещие слухи. Говорили, что во время собора, в трескучий морозный день, слышен был гром с небеси и земля зашаталась. И оттого стал такой мороз, какого не бывало: с колокольни Ивана Великого метлами сметали замерзших воробьев, голубей и галок; из лесу в Москву забегали волки и забирались в сени, в дома, в церковные сторожки. Все это не к добру, все это за грехи... «Великий раскол» – это роман о трагических событиях XVII столетия. Написанию книги предшествовало кропотливое изучение источников, сопоставление и проверка фактов. Даниил Мордовцев создал яркое полотно, где нет второстепенных героев. Тишайший и благочестивейший царь Алексей Михайлович, народный предводитель Стенька Разин, патриарх Никон, протопоп Аввакум, боярыня Морозова, каждый из них – часть великой русской истории.

ISBN 978-5-4444-1454-5

© Мордовцев Д. Л., 1878  
© ВЕЧЕ, 1878

## Содержание

Об авторе	6
Часть первая	8
I. Попытка к возврату	8
II. Посох митрополита Петра	14
III. Аввакум в царицыных палатах	20
IV. Стенька Разин у Никона	26
V. Аввакум и боярыня Морозова	31
VI. Из-за аллилуйи	37
VII. Въезд Брюховецкого в Москву	43
VIII. Сватовство гетмана	49
IX. Смута в Соловках	55
X. Суд над Никоном	60
Конец ознакомительного фрагмента.	62

# **Даниил Мордовцев**

## **Великий раскол**

© ООО «Издательство «Вече», 2013

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

## Об авторе

Известный русский и украинский писатель и историк Даниил Лукич Мордовцев родился 7 (19) декабря 1830 г. в слободе Даниловка быв. Ростовской губернии. Его отец был управляющим помещичьей слободой, мать – дочерью местного священника. Даниил был младшим ребенком в семье. Отец умер, когда малышу еще не исполнилось и года. Мальчик учился сначала у слободского дьячка, потом окончил окружное училище и саратовскую гимназию. В 1850 г. юноша поступает на физико-математический факультет Казанского университета, но его уговаривают перейти на историко-филологический факультет, откуда Даниил в следующем году переводится в Петербургский университет, по окончании которого уезжает в Саратов, где служит в губернской канцелярии и одновременно редактирует неофициальную часть «Губернских ведомостей». Пользуясь возможностью собирать разнообразный исторический и фольклорный материал, Мордовцев часто ездит по губернии. Часть собранного материала публикует в виде очерков в тех же «Губернских ведомостях». В 1859 г. вместе с Н. Костомаровым публикует «Малороссийский литературный сборник», куда включает свои произведения на украинском языке. Первым значительным литературным произведением на русском языке стал исторический рассказ «Медведицкий бурлак» (1859).

В 1864 г. Мордовцев переезжает в Петербург, где поступает на службу в Министерство внутренних дел, но через три года возвращается в Саратов. В волжском городе он служит в комиссии народного продовольствия, попечительском тюремном комитете, губернской канцелярии и статистическом комитете. Наряду с этим Мордовцев занимается историческими исследованиями, публикуя свои статьи в таких солидных журналах, как «Русское слово», «Русский вестник», «Вестник Европы». В журнале «Дело» публикуются очерки Даниила Лукича «Накануне воли», где реалистично показаны жизнь и взаимоотношения крестьян и помещиков. Очерки эти вызывают неудовольствие начальства. Весной 1872 г. Мордовцева отправляют в отставку. Он снова едет в Петербург, где издает свои исторические труды «Гайдамачина», «Самозванцы и понизовая вольница», «Политические движения русского народа». В 1870-х гг. Мордовцев публикует в «Отечественных записках» ряд статей, написанных в полуюмористической форме от имени мистера Плумпудинга. Эти произведения пользовались большой популярностью.

С конца семидесятых годов писатель почти целиком посвящает себя историческому роману. Он обнаруживает здесь недюжинную работоспособность. К лучшим произведениям писателя относят романы «Великий раскол», «Идеалисты и реалисты», «Царь и гетман», «Наносная беда», «Лжедмитрий», «Двенадцатый год», «Замурованная царица», «За чьи грехи?». Д. Мордовцев не раз выезжал за пределы Российской империи и умел рассказать о зарубежной жизни. Его перу принадлежат путевые очерки: «Поездка в Иерусалим», «Поездка к пирамидам», «По Италии», «По Испании», «На Арарат», «В гостях у Тамерлана» и пр. Мордовцев также был автором популярных культурно-исторических очерков: «Русские исторические женщины», «Русские женщины нового времени», «Ванька Каин», «Истории Пропилеи» и др. Собрание его сочинений, изданное в 1901–1902 гг., состоит из 50 томов.

Весной 1905 г. писатель заболел воспалением легких. Он уезжает сначала в Ростов, а потом в Кисловодск, надеясь, что кавказский климат вылечит его, но этого не произошло, и 10 (23) июня 1905 г. Даниил Мордовцев скончался. Его похоронили в Ростове-на-Дону, на Новоселовском кладбище, в фамильном склепе. В советское время интерес к творчеству «русского Вальтера Скотта» и «одного из самых читаемых в России беллетристов XIX века» резко упал. Только с начала 1990-х гг. снова стали выходить исторические романы этого неординарного писателя. Остается сожалеть, что он еще недостаточно известен современному читателю.

*А. Москвин*

## **ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ Д. Л. МОРДОВЦЕВА**

- «Знамения времени» (1869)
- «Идеалисты и реалисты» («Тень Ирода») (1876)
- «Великий раскол» (1878)
- «Наносная беда» (1879)
- «Лжедмитрий» (1879)
- «Двенадцатый год» (1880)
- «Царь и гетман» (1880)
- «Сидение раскольников в Соловках» («Соловецкое сидение») (1880)
- «Господин Великий Новгород» (1882)
- «Замурованная царица» (1884)
- «Видение в Публичной библиотеке» (1884)
- «Москва слезам не верит» (1885)
- «За чьи грехи?» (1891)
- «Державный плотник» (1895)

## Часть первая

### I. Попытка к возврату

В ночь с 17 на 18 декабря 1664 года из ворот Воскресенского монастыря, что под Москвою, выехало несколько саней. В передних, с высокою спинкою, обитых черною материею, виднелась массивная фигура в черном высоком клобуке, на котором, при мерцании звезд и движении саней, искрились разноцветные огоньки дорогих камней. Против него, на переднем сиденье, виднелась другая человеческая фигура, над которою высился большой крест, тоже искрившийся огоньками. Проходившие в это время по дороге люди, завидя передние сани и крест, поспешно отошли в сторону и упали ниц.

Ночь была морозная, тихая. На небе вывездило. Необыкновенно ярко выступали из мрачного покрова, раскинувшегося над землею, то трепетные и мигающие, то яркие и дрожащие искры далеких огней, брошенных неведомою силою в пространство, и чем дальше всматривался в них глаз, тем далее, казалось, уходили они в мрачную, беспредельную даль и пустоту, так что становилось чего-то страшно. Страх этот ясно изображался на бледном лице того, который сидел на переднем сиденье первых саней и держал в руках высокий металлический крест: он, по временам, испуганно взглядывал на это темное, усеянное звездами небо, на котором, среди других звезд, неподвижно стояла страшная, хвостатая звезда, словно огненная метла, брошенная на небо хвостом на полдень, – и тихо шептал молитву.

Поезд двигался скоро, резко визжа полозьями по снегу. Возницы, сидевшие на передках саней, тихо, без слов, но торопливо подгоняли лошадей длинными бичами. Во всех санях виднелись черные клобуки – и весь этот ночной поезд с черными клобуками представлял что-то таинственное, загадочное.

– Что крест-от так дрожит у тебя в руках? – спросил вдруг тот, у которого на клобуке искрились драгоценные камни.

– Страховито видение сие, великий государь, – отвечал державший крест, указывая на комету.

– То знамение Божие – перст огненный, им же Он, сый и грядый, судьбы мира пишет.

– К добру ли знамение то, великий государь?

– Судьбы Его кто исповесть? Может, на врагов моих и сквернителей церкви Российской указывает тот палец огненный, а может, на меня.

Через дорогу, впереди саней, промелькнуло что-то серенькое и попрыгало по снегу к ближайшему перелеску.

– Стой, останови сани! – повелительно сказал последний голос. – Заяц перебежал дорогу... Лукав бес – ненавидит добро... Поди, Иванушко, осени крестом дорогу.

Возница остановил коней. Остановился и весь поезд. Лошади встряхивались, гремя наборною сбруею.

– Что случилось? Зачем стали? – слышалось из прочих саней. – Заяц передорожил.

Тот, кого называли Иванушкой, вылез из первых саней, держа перед собою высокий крест, прошел вперед и, трижды осенив крестом дорогу, молча воротился на свое место.

Поезд снова двинулся. Опять завизжали полозья, звонко, резко, словно бы под ними кто-то вскрикивал от боли, жалуясь на холод. Снова безмолвно смотрели с неба чьи-то страшные очи да огненный палец – не палец, а целая горящая пятерня указывала на что-то далекое, невидимое. Иногда лес заслонял собою горизонт и снежную, утопавшую во мраке равнину, и тогда казалось, что вдоль дороги, по сторонам, двигались какие-то тени в саванах, из-под которых простирались длинные руки, словно заочневшие от холода.

Время переходило уже за полночь, и в ночном воздухе слышалось что-то похожее не то на продолжительный, неумолкаемый стон, не то на далекую протяжную и плачущую музыку. Сидевший в передних санях словно как бы вздрогнул и вытянулся, к чему-то прислушиваясь.

– Меня зовут... по мне встосковались храмы Божии, – радостно сказал он.

То слышался далекий звон московских церквей к заутрене. Скоро близость Москвы стала сказываться все яснее и яснее. Потянулись изгороди, заборы, боярские подгородные усадьбы. Чаше попадались обозы, гуськом тянувшиеся в город, к раннему базару.

У заставы поезд остановлен был окриком сторожей: «Кто едет?»

– Саввина монастыря власти, – отвечали из первых саней.

– Подвысь! Вольно! С Богом!

И сторожа, при виде креста в санях, в недоумении сняли шапки и стали креститься.

Поезд с крестом проехал прямо в Кремль и остановился у Успенского собора. В соборе в это время шла заутреня. Служил Ростовский митрополит Иона, временный блюститель Патриаршего престола. Народу была полна церковь, так полна, что во время молитвенных возгласений иподиакона вся церковь представляла колышущуюся массу голов, которые, по-видимому, не вмещались в тесных стенах обширного храма и во всяком случае не могли делать истовые размашистые поклоны, как то требовалось обычаем. В спертom от дыхания воздухе свечи, которых зажжены были целые леса, горели тускло, оплывали и чадили. Но при всем том в храме царствовала благоговеинная тишина и только слышались сдержанные старческие покашливанья да вздохи сокрушенных сердец, а то и просто вздохи обычая – что так-де надоть, крепче будет. Над всем этим господствовал звонкий, грудной, хотя тоже, в силу обычая, для большей истовости несколько гнусивший голос псаломщика – митрополичьего подьяка, высоко и шибко забиравшего большею частью там, где не следовало. Читалась уже вторая кафизма. Голос чтеца гулко отдавался под сводами храма, как бы сиюсь вырваться на морозный воздух из этой душной, пропитанной восковым чадом атмосферы.

Вдруг у входных дверей послышался какой-то шум. Сделалось смятение. Все головы оборотились взад в ожидании чего-то непонятного. Входные двери загремели железными засовами, завизжали на петлях и тяжело растворились настежь. В церковь дымными клубами ворвался морозный воздух.

Что такое? Не царь ли идет? Голос псаломщика дрогнул, но чтение не прекращалось.

Стена молящихся насунулась вперед и уперлась о самый амвон. Те, которые занимали середину церкви, шарахнулись в стороны, как овцы, прижимаясь к стенам и колыхая паникадилами, которые чуть не попадали – да упасть было некуда – попадали только некоторые свечи.

Показались ряды монахов с заиндедевшими от мороза бородами. За монахами – высокий, блестящий золотом и самоцветными камнями крест. За крестом – высокая, коренастая, осанистая фигура в черном клобуке, на котором блестит и искрится отливающий всеми цветами радуги налобный крест. Лицо вошедшего за крестом – бледное, суровое, с выражением чего-то повелительного, непреклонного, скорее жесткого и отталкивающего: глаза, которые никогда, кажется, не смотрели нежно на ребенка, губы, которые никогда, кажется, не знали поцелуя любви и ласки.

Все головы оборотились к нему, и все, казалось, замерло с испугу. Один подьяк не прерывал чтения, хотя и его голос срывался и дрожал.

– Перестань читать! – раздался, как удар кнута, повелительный голос, который так часто когда-то слышали эти стены; а теперь и стены, казалось, дрогнули от испуга: так давно они не слыхали этого знакомого, страшного голоса – более шести лет не слыхали его.

Слова читавшего кафизмы замерли в горле, на полслове остановился, словно бы перед ним разверзлась бездна. А в этот момент откуда-то раздались стройные, плавные звуки, как

будто бы они исходили из купола, в то время как страшный пришлец твердо и грузно вступал на патриаршее место.

– Исполла эти, деспота!

Это пели монахи, только что вошедшие в церковь. Потом запели – «Достойно есть...». Вся церковь окаменела от изумления; никто не молился; митрополит стоял бледный, потерянный – он не знал, что ему делать, не понимал, что же такое случилось, что вокруг него происходит.

Когда кончилось пение «достойно», протодиакон, стоявший в полном облачении, недвижим, как истукан, невольно поднял обернутую в орарь правую руку, которая дрожала.

– Говори ектенью! – второй раз прозвучал по церкви тот страшный голос, который всех приводил в трепет.

Протодиакон оторопел, заспешил было, сорвался с голоса, поправился, передохнул – и продолжал уже ровной, привычной октавой... «О свышнем мире и о спасении душ наших! О мире всего мира...»

А страшный пришлец, сойдя с патриаршего места, плавно, но твердо, словно вдавливая ноги в церковный каменный помост, стал ходить по церкви и прикладываться к образам и мощам. Народ со страхом расступался перед ним, боясь поднять глаза до его глаз, светившихся каким-то фосфорическим светом.

Окончив это, пришлец опять взошел на патриаршее место, возглашая громко, медленно и сурово, как бы грозясь кому-то: «Владыко Многомилостиве!..»

– Иди под благословение! – повелительно обратился он, тотчас после молитвы, к митрополиту Ионе, который продолжал стоять неподвижно, по-прежнему бледный, недоумевающий.

Иона повиновался – подошел, склонив ниже обыкновенного седую голову в богатой митре. За ним робко потянулось прочее духовенство. Пришлец порывисто шептал благословение и так же порывисто крестил подходящих, словно ударял ладонью провинившийся пред ним воздух. Никто не глядел в глаза этому страшному пришельцу.

– Поди, возвести великому государю о моем пришествии, – сказал он митрополиту, окончив благословение.

Оторопелый митрополит еще ниже наклонил голову, седые редкие косы его дрожали на плечах.

– Иди, – раздался повторительный возглас.

Иона пошел, шатаясь и не поднимая головы. За ним торопливо последовал ключарь собора, Иов. Народ поспешно расступался перед ними, как бы боясь прикоснуться до их риз.

За духовенством, один за другим, тихо и робко ступая по мосту, стали всходить на патриаршее возвышение и прочие молящиеся. Пришлец благословлял всех, долго благословлял. Не одну тысячу раз сделала в воздухе крестное знамение жилистая рука его, а народ все подступает, робко прижимаясь один к другому.

А время идет... Пришлец нетерпеливо поглядывает на входные двери – никого нет... На лицо его все более и более ложится какая-то зловещая тень... Глаза перестают глядеть на подходящий под благословение народ: они его не видят, а видят как будто что-то другое, никому не видимое.

Церковные сторожа робко, словно бы украдкой и боясь взглянуть на пришельца, пробираются между народом с пучками, с целыми охапками свечей и, втыкая их во все свободные ячейки паникадил и между ячейками, по бортам, до бесконечности увеличивают это несметное множество блестящих огненных языков, чтобы ярче, до боли глаз, осветилась огромная храмина, словно бы желая ярким светом освещенного огня согнать с давно вдовствующего патриаршего трона это страшное, сидящее на нем привидение, о котором начали было уже забывать, как о заживо погребенном. И храмина осветилась ярко, зловеще; а при-

видение не исчезает; оно все сидит на троне и автоматически машет рукою над робко склоняющимися головами молящихся. И лицо у привидения становится еще зловещее: матовая бледность его переходит в какую-то зеленоватость, в серо-пепельность...

Вдруг входные двери с шумом растворились. Народ опять шарахнулся в разные стороны. – Не царь ли идет? – Нет, не царь. – Показались бледные, смущенные лица митрополита Ионы, ключаря Иова, а за ними еще четыре лица... Это бояре. Впереди всех сухая, высокая фигура с иконописным лицом и черненькими в мешках и складках глазами. Это Одоевский князь, Никита Иванович, боярин и постник. За ним статная, осанистая фигура другого боярина с добрым лицом и добрыми глазами. Это боярин – князь Юрий Алексеевич Долгорукий. Тут же и юркий молодой царедворец – Родион Стрешнев, и сухой, желтый, морщинистый, как пересохший пергамент, великий законник и воротило – дьяк Алмаз Иванов, изможденное лицо которого походило на полинялый от времени харатейный свиток, а живые черные глаза на этой харатье представляли подобие двух свежих чернильных пятен.

Бояре прямо подошли к патриаршему месту. Пришлец сидел, как статуя, не двигаясь; только огромный наперсный крест с камнями изобличал, что грудь, на которой он покоился, дышала тяжело, порывисто: камни дрожали и сверкали разноцветными искрами.

Вся церковь замерла от ожидания. Одоевский, молча и не кланяясь, подошел к прищельцу. Глаза их встретились. Глаза Одоевского потупились и спрятались под мешочками.

– Ты оставил Патриарший престол самовольно, – сказал он хрипло, – обещался впредь в патриархах не быть, съехал жить в монастырь, о чем и написано уже ко Вселенским патриархам; а теперь ты для чего в Москву приехал и в соборную церковь вошел без ведома великого государя и без совета всего Освященного собора? Ступай в монастырь по-прежнему.

Пришлец вздрогнул и поднялся во весь свой огромный рост. Одоевский невольно попятился назад. По церкви прошел ропот испуга. Многие учащенно крестились.

– Сошел я с престола никем не гоним, теперь пришел на престол никем не зван для того, чтоб великий государь кровь утолил и мир учинил, а от суда Вселенских патриархов я не бегая, и пришел я на свой престол по явлению.

Пришлец проговорил это необыкновенно отчетливо и резко. Каждое слово он как будто гвоздем прибивал, и последняя фраза сказалась особенно резко.

– Ступай в свой монастырь! – вторично прохрипел князь Одоевский то, что ему приказано было сказать.

Пришлец понял, что это уже царский указ – «пошел!» – и ни слова больше... Он пошарил что-то под панагиею и вынул оттуда запечатанный пакет.

– Вот письмо, отнесите его к великому государю, – сказал он, протягивая пакет и ни на кого не глядя.

– Ступай в монастырь! – автоматически повторил Одоевский.

– Без ведома великого государя мы письма принять не смеем, – как-то испуганно заговорил дьяк Алмаз Иванов, причем харатейная кожа на его лице еще более сморщилась: он вспомнил, что еще не так давно его, думного дьяка Алмаза Иванова, да подьячего Гришку Котошихина велено было бить батогами нещадно за то, что они приняли одно такое письмо, не досмотрев, а в нем была прописка в титуле великого государя – опискою написано было «гусодаря», – после каковых батогах, не стерпя побоя, оный Гришка Котошихин бежал к свейскому королю за море, а Алмаз Иванов харкал кровью.

– Без указа великого государя, его пресветлого царского величества, мы письма принять не смеем, – повторил этот великий законник.

– Пойдем, известим о сем великому государю, – добавил Юрий Долгорукий.

Посланные вышли. Церковь представляла теперь необыкновенное зрелище: служба была прервана; духовенство – соборные попы и протопопы, дьяконы, находившиеся перед тем в каком-то оцепенении, теперь ожили – бродили с клироса на клирос, с амвона в алтарь и

по церкви, перешептывались, иногда менялись улыбками и шушуканьем, кивали головами, свободно зевали и широко разметывали косы; сторожа украдкой, а иногда и явно пофукивали на паникадила и притушивали излишне зажженные из страха свечи; народ, все время до пришествия посланцев теснившийся к патриаршему месту для благословения, теперь с робостью отхлынул от этого места и не знал, что ему делать. Казалось, в церкви был покойник, и словно бы все ждали, что вот-вот запоют – «помилуй раба Твоего»... Тяжелое ожидание!

И пришлец казался теперь не тем, чем был недавно: он сидел неподвижно, как статуя; ему уже некого было благословлять – и он молча перебирал четки; бледное лицо его по временам судорожно подергивалось... Между тем время тянулось так долго. Давно зажженные свечи догорали, и словно мрак какой-то спускался от купола все ниже к полу. Становилось как-то сумрачно. То там, то здесь слышались вздохи, шепот молитвы...

Наконец двери опять широко распахнулись – и все вздрогнуло, засуетилось. Вошли прежние посланцы.

– Великий государь указал нам, холопам своим, объявить тебе прежнее: чтобы ты шел назад в Воскресенский монастырь, а письмо взять у тебя, – проговорил, как по заученному, Одоевский, подходя к патриаршему месту.

Пришлец снова выпрямился во весь свой рост и сделал шаг к Одоевскому и к прочим посланцам. Дьяк Алмаз Иванов попятился назад; но чернильные пятна – глаза его заискрились.

– Коли великому государю приезд мой не надобен, то я поеду назад в монастырь, но не выйду из церкви, пока на письмо мое отповеди не будет, – сказал пришлец по-прежнему громко и отчетливо.

И он гордо, не как проситель, подал письмо. Дьяк Алмаз Иванов быстро нагнулся и взглянул на титул письма: он пуще смерти боялся прописки в титуле: это было одно из величайших и тягчайших государственных преступлений того времени.

Посланцы опять вышли, опять в церкви осталось то же слоняющееся без дела священство, те же ожидающие чего-то прихожане, та же неподвижная фигура на патриаршем месте, а рядом – высокий блестящий крест в руках ставрофора-крестоносителя.

После томительного ожидания в третий раз распахнулись входные двери собора. Теперь впереди посланцев от царя выступал смиренный Павел, митрополит Крутицкий; но из-за маски смирения лицо его светилось скрытым злорадством.

– Письмо твое великому государю донесено, – начал он громко, обводя весь собор глазами, и остановился.

Все ждали, притаив дыхание. Митрополит начал.

– Он, великий государь, его пресветлое царское величество, власти и бояре письмо выслушали, – продолжал он и снова остановился.

Все ждали опять, ждали с еще более напряженным вниманием. Послышался где-то стон. С висячего паникадила упала свечка, проведя в воздухе огненную полосу, словно падающая звезда, и погасла. «Ох!» – послышался чей-то испуганный голос.

– И ты, патриарх, из соборной церкви ступай в Воскресенский монастырь по-прежнему, – закончил Крутицкий митрополит.

Это был жестокий приговор. Пришлец пошатнулся было назад, но тотчас же оправился, только лицо его позеленело. Он молча сошел с патриаршего места, медленно приложился к образам, взял посох митрополита Петра – этот исторический посох Московских святителей<sup>1</sup> – и направился к выходу между двумя стенами безмолвных зрителей, которых он, не поднимая глаз, благословлял обеими руками.

---

<sup>1</sup> Петр – первый митрополит всея Руси, утвержденный в 1385 г.

– Оставь посох! – говорил Одоевский, поспешая за ним.

– Оставь посох! – повторили прочие бояре.

– Отнимите силою! – не глядя на них, отвечал пришлец и вышел из собора.

Впереди по-прежнему несли крест. Ночь была на исходе. На небе все еще стояла огненная метла, только хвостом уже на запад. Народ повалил из собора.

Пришлец, садясь в сани, стал отрясать ноги, громко говоря евангельские слова:

– Иде же аще не приемлют вас, исходя из града того, и прах, прилепший к ногама вашему, отрясите во свидетельство на ня!

– Мы этот прах подметим! – дерзко отвечал стрелецкий полковник, наряженный провозжать пришьельца, как арестанта. – Подметим-ста!

– Да разметет Господь Бог вас оною божественною метлою, иже является на дни многи! – сказал ему пришлец и указал на комету.

– Ох, Господи, спаси нас, помилуй! – послышался испуганный крик в народе.

Поезд двинулся в обратный путь. Народ повалил за поездом. Из дворца прискакали – окольный князь Дмитрий Алексеевич Долгорукий и любимец царский Артамон Сергеевич Матвеев – и следовали за поездом.

Станный вид представляло это шествие в ночной темноте, при только что занимавшейся заре. За поездом теснились толпы, опережая его и производя необыкновенный гул и ропот: стук тысяч ног об замерзшую землю, скрип саней, карканье проснувшихся галок и воронья и смутное рокотание голосов сливалось в какой-то невообразимый хаос. В разных местах города звонили колокола, как бы прощаясь с уезжающими.

Пришлец, тот, который произвел все это волнение, сидел в первых санях и как-то странно глядел на стоявший перед ним крест... «Порвалась... порвалась последняя нитка», – шептали бледные губы.

За земляным городом поезд остановился. Долгорукий сошел с коня и приблизился к первым саням, сняв свою высокую боярскую шапку.

– Великий государь велел у тебя, святейшего патриарха, благословение и прощение просить, – сказал он, почтительно нагибая голову.

– Бог его простит, коли не от него смута, – отвечал сидевший в первых санях.

– Какая смута? – удивленно спросил Долгорукий.

– Я не своей волей приезжал – по вести, – был ответ.

Поезд снова двинулся в путь сквозь густую толпу народа. На колокольне Ивана Великого загорался золотой крест – всходило солнце.

## II. Посох митрополита Петра

Так неудачно кончилась попытка Никона (это был он) – попытка к примирению с царем Алексеем Михайловичем. Тишайший первый раз в жизни оказался непреклонным.

За шесть лет до начала настоящего повествования, летом 1658 года, в Москву приехал грузинский царевич Теймураз. По этому случаю у царя был большой обед. Приглашена была к столу вся московская знать, не был приглашен один Никон, великий святитель и патриарх, – Никон, который за столом царя занимал обыкновенно первое место. Это было для него прямым ударом в сердце: Тишайший царь, называвший Никона «собинным» другом своим, не решавшийся без его благословения ни на какое государственное дело, именовавший его не иначе, как владыкою святым, великим святителем, равноапостольным богомольцем, своим преосвященным главою, повелевавший ему писаться в указах царских рядом с царем и тоже называться великим государем, – царь вдруг охладевает к своему любимцу и даже не приглашает к столу. Задетый за живое, Никон посылает своего боярина, одного князя, во дворец – за каким-то церковным делом или просто высмотреть, что там делается. В это время царевич Теймураз ехал во дворец. Окольный Богдан Матвеевич Хитрово очищал ему путь, колотя, по московскому обычаю, палкою в лоб каждого, кто высовывался из толпы. Один из таких ударов попал в голову посланца Никона.

– Не дерись, Богдан Матвеевич! – закричал посланец, хватаясь за голову. – Вить я не просто сюда пришел, а с делом.

– Ты кто такой? – спросил окольный.

– Патриарший человек – с делом послан.

– Не дорожись! – закричал Хитрово и снова ударил патриаршего посланца дубиной по лбу.

Тот с плачем бросился к Никону. Никон написал царю, прося «розыскать дело» и наказать Хитрово. Царь тотчас отвечал собственноручно: «Сыщу и по времени сам с тобою видеться буду».

Но прошел день, другой – ни розыска, ни свидания.

Подоспел праздник Казанской Богородицы – большой праздник, с крестным ходом всего Освященного собора. А царь – такой богомолец, такой любитель церковной обрядности и всего священного благолепия. Накануне праздника Никон по обыкновению посылает попа доложить царю, что Святейший Патриарх шествует в церковь. От царя – ни ответа ни привета. У обедни – опять нет царя! Это так не похоже на него... И праздник не в праздник... Через два дня опять большой праздник – праздник ризы Господней, Никон опять шлет к царю с вестями – и опять нет царя! Вместо него является к патриарху царский спальник, князь Юрий Ромодановский – такой хмурый, торжественный... Что бы это значило?!

– Царское величество на тебя гневен, оттого не пришел к заутрене и повелел не ждать его и к святой литургии.

Вот какую громовую весть принес Ромодановский – было отчего смутиться. Но Никон не смутился – он знал Тишайшего, своего «собинного» друга.

– За что его царское величество на меня гневен? – спросил он.

– Ты пренебрег его царским величеством – пишешься великим государем; а у нас один великий государь – царь!

– Называюсь я великим государем не собою. Так восхотел и повелел его царское величество – свидетельствуют грамоты, писанные его рукою.

– Царское величество почтил тебя яко отца и пастыря, и ты этого не уразумел. А ныне царское величество велел тебе сказать: отныне не пишишь и не называйся великим государем, почитать тебя впредь не будет.

Что после этого оставалось делать? Или сломить, или самому сломиться. Но не такая это была воля, чтобы сломиться.

По уходе Ромодановского Никон недолго думал. В нем тотчас созрело решение. «Кину Патриарший престол вдовым – напугаю, сломя всех... Кроткий и богобоязненный царь испугается...» Он сказал об этом своему дьяку. Дьяк стал уговаривать. Напрасно! Патриарх был непреклонен. Дьяк кинулся к другу Никона, боярину Зюзину. Тот велел умолять патриарха – не делать этого, не гневить царя: «после-де захочешь воротиться, да поздно будет». Упрямый гордец задумался было – стал даже писать царю; но прилив злобы все испортил...

– Иду! – тряхнул он своею черною гривую и в клочки изодрал написанное... – Купите мне простую палку, какие попы носят...

И он отправился в Успенский собор.

Энергиею и силою звучал его металлический голос во время службы – никогда он не служил так хорошо, величественно; руки его, сжимая золотые свещницы с горящими свечами, казалось, благословляли этим светом весь мир. Когда хор возглашал: «Исполла эти, деспота!» – величественное лицо его, казалось, говорило: «Кто против меня, тот против Бога и Церкви!»

После причастия он велел ключарю поставить у выходов сторожей, не пускать народ из храма: «поучение-де будет».

И вот великий патриарх вышел на амвон – лицо какое-то необыкновенное, не его лицо!

– Буди имя Господне! – загремел хор.

Народ понадвинулся к амвону. Тысячи глаз смотрели в лицо проповеднику.

– Ленив я был вас учить, – раздались слова с амвона, – не стало меня на это... От лени я окоростовел, и вы, видя мое к вам неучение, окоростовели от меня. От сего времени я вам больше не патриарх; а если помыслию быть патриархом, то буду анафема. Как ходил я с царевичем Алексием Алексиевичем в Калязин монастырь, и в то время на Москве многие люди к Лобному месту собирались и называли меня иконоборцем, потому что многие иконы я отбирал и стирал, и за то меня хотели убить. А я отбирал иконы латинские, писанные по образцу, какой вывез немец из своей земли. Вот каким образом надо верить и поклоняться (и он указал на образ Спасов в иконостасе). А я не иконоборец. И после того называли меня еретиком – новые-де книги завел! И все это учинилось ради грех моих. Я вам предлагал многое поучение и свидетельство Вселенских патриархов, и вы, в окаменении сердец ваших, хотели меня камением побить; но Христос нас единожды кровию искупил – а коли меня вам камением побить, и мне никого кровию своею не избавить, и чем вам камением меня побить и еретиком называть, так лучше я вам от сего времени не буду патриарх. Аминь.

Как громом поразили эти слова весь собор. Недоумевающие, смущенные, оторопевшие, испуганные, все стояли точно окаменелые и с каким-то ужасом как бы искали понять, кто же тут виноват во всем этом, где те преступники, которые вызвали страшное проклятие на весь собор, на всю эту массу молящихся, верующих, чего-то чающих, где они, эти изверги, где виновные в том, что вот-вот сейчас гром небесный разразится над храмом... Послышались всхлипывания, стоны; женщины громко плакали... «Матушки! святители! что ж это будет с нами!.. ох!..»

– Батюшка! кормилец! кому же ты нас, сирых, оставляешь? – голосили бабы и боярыни в истощный голос. – Кому, батюшка наш? О-о-о!

– Кого вам Бог даст и Пресвятая Богородица изволит, – отвечал Никон.

Его стали разоблачать. Казалось, что это раздевают покойника. А вон и саван несут – это мешок с простым монашеским платьем. Что ж это такое будет?

Толпа не выдержала – бросилась к послушникам и отняла у них мешок. Толпа превращалась в зверя: как она в другое время побилась бы камнями этого самого Никона, так теперь за него она готова была растерзать всех.

Никон не мог послушаться толпы и ушел в алтарь. Там он потребовал бумаги и чернил. Нагнувшись к престолу, он, стоя, начал чертить пером по бумаге. Рука его дрожала; перо не попадало в чернильницу. Он сам повторял за собою то, что чертила его рука на бумаге... Это было письмо к царю... «Отхожу ради гнева твоего, исполняя писание: дадите место гневу... И паки: егда изженут вас от сего града, бежите во ин град, и еже аще не примут вас, грядуще отрясите прах от ногу вашею...»

– Отрясу... отрясу, – бормотал он, когда, тотчас после этого, на него стали надевать простую мантию с «источниками» и черный клобук. – Бегу во ин град, бегу в пустыню...

Взяв в руки простую палку, он быстро вышел из алтаря и направился было к выходным дверям. Что-то страшное и в то же время обаятельное было во всей его фигуре. Сначала было все шархнулись от него с испугу в сторону, но потом задние бросились к дверям и заслонили их собою.

– Не пустим! не пустим! – застонала толпа.

Женщины истерически рыдали, валяясь в ногах у упрянца и целуя его ризы, ноги, палку... Выпустили только Крутицкого митрополита Питирима, который поспешил во дворец доложить царю о том, что происходило в соборе.

Царь был поражен как громом неожиданной вестью... «Точно сплю с открытыми глазами и все это вижу во сне», – бормотал он, хватаясь за голову и беспомощно озираясь. Глаза его упали на стоявшего тут же князя Трубецкого, Алексея Никитича, великого стратига московского.

– Иди, Алексей, образумь его, скажи: я жалую его, не гоню... рад ему... Ох, Господи!

Трубецкой явился в собор. Никон сидел на нижней ступени патриаршего места, чертя в задумчивости посохом по церковному помосту. Трубецкой подошел к нему под благословение.

– Прошло мое благословение, недостойн я быть в патриархах, – сказал Никон, не давая Трубецкому благословения. – Недостойн.

– Какое твое достоинство? Что ты сделал? – спросил недоумевающий Трубецкой.

– Если тебе надобно, то я стану тебе каяться, – с горькою ирониею отвечал патриарх. – Всему собору, всем православным христианам буду каяться.

В толпе послышался ропот. Трубецкой смутился.

– Это не мое дело, не кайся, – бормотал он, – скажи только, зачем бежишь, престол свой оставляешь? Живи, не оставляй престола! Великий государь наш тебя милует и рад тебе.

Никон вынул из-под мантии клочок бумаги, что сейчас исписал за престолом, и подал Трубецкому.

– Поднеси это государю... Попроси царское величество, чтоб пожаловал мне келью.

Трубецкой ушел. Патриарх, несмотря на свою железную волю, озираясь растерянно, видимо не находя себе места: то садился на нижней ступени патриаршего места, как бы униженно припадая к ногам обезумевшей от изумления толпы, то вставал и порывался к дверям. Но народ с плачем не пускал его, падая перед ним ниц или простирая к небу руки. Картина была потрясающая. Женщины то рыдали, сбившись в кучу, как овцы в зной, то ползали у ног упрянца, стучаясь головами о каменный церковный помост.

Не выдержал и патриарх – заплакал: беспомощно опустившись на нижнюю ступень своего седалища, он припал лицом к ладони и тихо, беззвучно рыдал.

Это уже было выше меры. Церковь вся огласилась рыданиями. Даже сторожа, забившись по углам, плакали.

Но снова явился Трубецкой и, отдавая Никону назад письмо его, сказал: «Великий государь указал тебе сказать, чтоб ты патриаршества не оставлял, а келий-де на патриаршем дворе много».

– Уже я слова своего не переменю, – сказал патриарх и вышел из собора.

Теперь уж его никто не останавливал. Народ чувствовал, что вместе с патриархом и ему нанесена обида... Стоит ли де настаивать после этого!

Но, когда Никон хотел сесть в карету, народ бросился на нее и выпряг лошадей. Никон пошел пешком чрез Кремль – народ за ним. Патриарх хотел уйти Спасскими воротами – народ запер ворота. Тогда Никон сел в нишу под воротами, в «печуру». Народ запрудил всю эту половину Кремля, и только посланные из дворца бояре могли заставить народ выпустить своего пленника.

Опальный патриарх пошел пешком до своего подворья, на Ильинку, а народ, провожая его, плакал, словно по покойнику.

\* \* \*

Все это вспомнил теперь Никон, возвращаясь в свой Воскресенский монастырь из Москвы, куда он попытался было, но так неудачно, снова воротиться из своего добровольного, а теперь невольного изгнания. Тяжело было у него на душе. Да и как переменялось все в эти долгие, мучительно однообразные шесть лет изгнания! Тогда, оскорбленный и униженный, он ехал в изгнание все-таки полный надежд, что его скоро воротят, попросят назад, и торжество его будет полное. Теперь он возвращался, полный мрачной безнадежности и тоски: мало того что теперь его выгнали как собаку – впереди еще ждет его суд Вселенских патриархов. «О! наемники!» – невольно вырвалось у него слово – и он оглянулся назад. Сани его катились по той же однообразной снежной равнине, по которой он, несколько часов тому назад, ночью, ехал с тайною надеждою на победу... Нет, не победа ждала его, а глубокое посрамление...

И он снова мыслью переносился в прошлое. Тогда, шесть лет назад, эти поля покрыты были зеленью; теперь – кругом саван белый – глазам больно от этого снежного моря...

Вспоминалась ему вся его горькая, одинокая жизнь в монастыре и та светлая, полная торжества, власти и славы жизнь, когда он еще не покидал Патриаршего престола. Припомнилась и последняя, прошлогодняя схватка с Паисием Лигаридом<sup>2</sup> и другими посланцами царя... Пришли они к нему в келью целым сонмищем, а впереди всех этот грек-бродяга, Паисий... Не вытерпело сердце буйного патриарха, и он ринулся вепрем на бедного гречина.

– Вор! нехристь! собака! самоставник! мужик! – закричал он, стуча об пол посохом. – Давно ли на тебе архиерейское одеяние? Есть ли у тебя ко мне грамоты от Вселенских патриархов? Тебе не впервой тыкаться по государствам да мутить. У нас того же захотел!

Но увертливый Одиссей не смутился.

– Отвечай мне по-евангельски, – мягко сказал Паисий по-латыни, – проклинал ли ты царя?

– Я служу за царя молебны, – накинулся на него Никон, когда ему перевели слова Паисия. – А ты зачем говоришь со мною на проклятом латинском языке?

– Языки не прокляты, – отвечал Паисий, – огненный Дух сошел в виде языков. Я же говорю с тобою по-еллински, потому что ты невежда и не понимаешь этого золотого языка.

А тут некстати вмешался Иосиф, архиепископ Астраханский<sup>3</sup>.

– И ты туда же! – крикнул на него Никон. – А помнишь ли, бедный, свое обещание? Обещался ты и царя не слушать, а теперь суешься! Али тебе, бедному, дали что-нибудь? Я ни слушать тебя, ни говорить с тобою не стану.

---

<sup>2</sup> Проводник идей папы римского о распространении католицизма в России.

<sup>3</sup> Убит разинцами в Астрахани в 1671 г.

– А для чего ты, – вмешался в спор Одоевский, – для чего на молебнах жалованную государеву грамоту приносил, под крест клал и под образ Богородицы, читать ее приказывал и из псалмов клятвенные слова говорил?

– Я на литургии, после заамвонной молитвы, со всем собором молебен служил, государеву грамоту прочитать велел, под крест и под образ Богородицы клал, а клятву износил на обидающего мя, на Ромашку Боборыкина, а не на великого государя.

Те не верили, настаивали на своем. Никон не вынес больше и закричал:

– А хотя бы я и к лицу великого государя клятву износил – так что ж? Я за такие обиды и теперь стану молиться: приложи, Господи, зла славным земли!

А потом, обратившись к Иосифу, спросил:

– Какой у вас теперь там на Москве собор и кто приказывал его вам открывать?

Иосиф отвечал:

– Этот собор созван по указу великого государя ради твоего неистовства; а тебе до этого дела нет: ты свое достоинство патриаршеское оставил.

– Я своего достоинства патриаршеского не оставлял.

– Как не оставлял? – Ему показали письмо. – А это разве не твое письмо, где ты пишешь, что не возвратишься на патриаршество, как пес на свою блевотину? Разве не сам ты писался бывшим патриархом? И после этого годится ли тебе называться патриархом?

– Я и теперь государю не патриарх! – загремел упрямец.

– А по самовольному с Патриаршего престола удалению и по нынешним неистовствам твоим ты и нам всем не патриарх... Достоин ты за свои неистовства ссылки и подначальства крепкого, потому что великому государю делаешь многие досады и в мире смуту.

Тут уже Никон окончательно вышел из себя и закричал не своим голосом:

– Вы пришли на меня, как жида на Христа...

Все это припомнилось теперь несчастному. А впереди еще этот вселенский суд, а там, верно, вечная ссылка и вечное – до самого гроба – забвение...

Было уже далеко за полдень, когда поезд изгнанного из Москвы патриарха добрался до села Чернева. Лошади, не кормленные всю ночь и более половины дня, притомились. Свита Никона, тоже постившаяся и глаз не сомкнувшая со вчерашнего дня, изнемогла и отошла. Иван Шушера, ставрофор патриарха, постоянно державший перед ним крест, падал от утомления и того и гляди мог уронить и самый крест. Сам Никон, казалось, постарел за эту ужасную ночь на десять лет: он, постоянно прямой и твердый, как-то осунулся и сидел сгорбившись. Шушера, вглядываясь в его посеребренную инеем бороду, с ужасом замечал, что в ней начинает серебриться и другой, не морозный иней – иней седины, старости, дряхлости.

Решено было остановиться в селе Черневе – покормить лошадей и самим отдохнуть. Въехали в подворье. Молча, поддерживаемый монахами, Никон вышел из саней и вошел в избу. Почти все время, пока оставались в Черневе, он сидел неподвижно, в глубокой задумчивости. Из этой задумчивости он был выведен скрипом подъехавших к подворью саней и знакомыми голосами. Он встрепенулся, по лицу и по глазам его прошел какой-то свет. Он узнал звонкий голос Родиона Стрешнева и сухой кашель дьяка Алмаза Иванова. Что-то вроде надежды блеснуло в черных глазах изгнанника.

В избу вошли Павел, митрополит Крутицкий, Иоаким, архимандрит Чудовский<sup>4</sup>, Родион Стрешнев и Алмаз Иванов.

– Великий государь приказал спросить у тебя, по какой вести приезжал ты в Москву, и взять у тебя посох Петра митрополита, – сказал Стрешнев, став посреди избы.

– Приезжал я в Москву не своею волею: по вести из Москвы, – отвечал Никон по-прежнему гордо, – посоха не отдам... отдать мне посох некому.

---

<sup>4</sup> 26 июля 1674 г. был возведен на Патриарший престол.

Митрополит Крутицкий хотел что-то сказать, но Никон не дал ему рта разинуть.

– Тебя я знал в полах, а в митрополитах не знаю! – крикнул он на него. – Кто тебя в митрополиты поставил – не ведаю да и знать не хочу. Посоха тебе не отдам, потому что не у кого, кроме меня, посоху быть. А кто ко мне весть прислал – вот письмо.

И он подал Алмазу Иванову исписанный листок бумаги, хранившийся у него на груди под мантиею. Алмаз Иванов быстро поднес листок к своему пергаментному лицу, пробежал его своими мышинными глазками, словно нюхая, чем пахнут чернила, и, пробормотав успокоительным голосом: «от Зюзина от Микитки», – сунул его к себе за пазуху.

Никону доложили, что лошади уже запряжены – пора ехать. Не оборачиваясь к царским посланцам, он вышел из избы на крыльцо. Был уже вечер. Звезды, как и вчера, горели ярко, и длинный хвост кометы стоял на синеве неба прямо, словно огненная метла, поднятая невидимой рукою.

Посланцы вышли за патриархом. Когда Никон, поддерживаемый монахами, садился уже в сани, к нему подошел Крутицкий митрополит.

– Отдай посох, – сказал он настойчиво.

– Не тебе ли, худоглавый! – огрызнулся на него упрямец.

– Не мне, а великому государю.

– Через твои-то коростовые руки!

Ошпаренный митрополит не знал, что отвечать.

– На! – обратился упрямец к близстоявшему монаху, подавая ему посох. – Отвези великому государю... А мой посох – вон! (Он указал на комету.) Я с ним пойду по земле и всю Российскую землю вымету начисто...

Он сделал знак рукою, и поезд двинулся в путь.

### III. Аввакум в царицыных палатах

В этот самый вечер, когда Никон, уезжая из села Чернева в ссылку, грозился, что вместо посоха Петра митрополита возьмет в руки божественную метлу – комету – и ею выметет Русскую землю, – в это время в Москве, во дворце, на половине царицы Марии Ильиничны, рядом с царицыною мастерскою палатою, в покоях ближних боярынь Феодосьи Прокопьевны Морозовой и княгини Авдотьи Прокопьевны Урусовой, которые были родные дочери Прокопья Федоровича Соковнина, ведавшего царицыну мастерскую палату, находился редкий гость – мужчина. По тому времени на женскую половину допускались весьма немногие мужчины – ближайšie родные, духовники, святоши да юродивые.

Гость, сидевший в покоях Морозовой и Урусовой, был поп, судя по его одеянию и наружности. Это был высокий, широкоплечий мужчина с длинною апостольскою седою бородою и такими же седыми курчавыми волосами, с длинным, тонким, красиво очерченным носом, с серыми большого разреза и длинными глазами и низеньким лбом, на который красиво падали седые кудерьки, – точь-в-точь святительский лик, какие можно видеть на старинных иконах суздальского письма. Серые, с длинным разрезом и длинными ресницами глаза смотрели ласково и по временам зажигались прекрасным, каким-то согревающим светом. Это были совсем отроческие глаза под седыми бровями.

Боярыни, у которых этот бросающийся в глаза старик сидел в гостях, смотрели еще совсем молоденькими. Они были одеты совсем одинаково: в черные, с малиновыми по переду и по подолу разводами, сарафаны и в темно-малиновые с золотыми разводами душегреи. И лицом они походили одна на другую, только старшая из них на вид была покруглее лицом и всеми формами: немножко вздернутые кверху носики, большие, голубые, с наивно-детским выражением глаза и круглые подбородки с ямочками – все это было одного пошиба и смотрело одинаково мягко и симпатично.

Они сидели у покрытого ковром стола, на котором находился большой серебряный поднос, а на нем рассыпан жемчуг и разноцветный бисер. Они усердно подбирали жемчуг и бисер, по временам как бы замирали, слушая своего гостя и поднимая на него от работы изумленные, нередко испуганные глаза, и снова наклонялись над работой. Тут же стояла у стола маленькая, лет девяти-десяти, белокуренькая девочка и, торопливо выбирая с блюда самые крупные жемчужины, нанизывала их на красную нитку. Она часто смотрела на седого гостя своими большими удивленными глазами, как бы не веря тому, что тот рассказывал, и, роняя иногда жемчужину на блюдо, нетерпеливо топала ножкой.

– И как я, светики мои миленькие, подал эти выписки о сложении перстов, меня и велел схватить оный Никонишко, – монотонно говорил седой гость, поглаживая свою бороду. – Взяли меня, светики мои, от всенощной, прямо из церкви, а со мной захватили и стрельцов человек до шестидесяти. Их-то, детушек моих, в тюрьму отвели, а меня на патриархов двор на цепь посадили на ночь, яко медведя. Когда же рассветало, посадили меня на телегу, растянули руки, точно распяли, и везли от патриархова двора до Андроньева монастыря, и тут на цепи, что собаку, кинули в темную-претемную палатку – вся в землю ушла, сыра и холодна, как могила. И сидел я там, светики мои, три дня, во тьме кромешной, не ел, не пил, да и не давали ничего. И сидя там, я молился на цепи и кланялся с цепью: не знаю, на восток, не знаю, на запад поклоны клал... а цепь-то звенит, цепь-то плачет ко Господу! Никто ко мне туда не приходил, токмо мыши да черные тараканы, да сверчки и день и ночь кричат. И в третий день приалчен я бысть, сиречь есть захотел, отошал – и оле чудо! – стало предо мною не вем ангел, не вем человек – и по сие время не знаю, ста предо мною в потемках, молитву сотворил и, взяв меня за плечо, с цепью к лавке подвел, посадил, ложку в руки дал, хлебца немножко и щец дал похлебать – зело превкусны, хороши, и рек ми: «Полно! Довлеет ти

ко укреплению». Да и не стало его: двери не отворялись, а его не стало. Дивно только – человек ли то, али ангел? Ино нечему дивиться, ангелу везде не загорожено. То-то ночка была!.. Наутро архимандрит с братиею пришли и вывели меня из темницы: журят мне, что патриарху не покорился; а я, светики мои, от писания браню его да лаю. А там поволокли меня в церковь и в церкви-то за волосы драли, под бока пинками толкали, за цепь трогали и в глаза плевали... А я, светики мои, радуюсь: как клок-от волос выдерут, а я думаю себе: «венец-де нетленный плетут мне»; а цепь звенит – то райские птички поют: таково-то сладко на душе было!

Он остановился, как бы припоминая что. Слушательницы тихо позвякивали жемчугом, боясь проронить слово.

– В ту пору, светики мои, – продолжал гость, – взяли и Логина, протопопы муромского. В соборе, при самом государе, остриг его Никон в обедню – то-то знатную цирульню из храма сделал! Во время переноса оный цирульник Никон снял с головы у архиерея дискос и поставил на престол с телом Христовым и с чашею. А когда остригли Логина, то содрали с него и однорядку, и кафтан – точно разбойники! Логин же разжегся ревностию Божественного огня, шибко, на весь собор, порицал Никона и через порог в алтарь в глаза ему плевал; а потом, распоясався, и рубашку с себя сдернул да голый, в чем мать родила, портками прикрывшись, ту рубашку в алтарь в глаза Никону бросил... И чудно! Растопоряся рубашка, и покрыла на престоле дискос, будто воздух... И в ту пору, светики мои, и царица в церкви была...

– В ту пору, батюшка, и я с царицей была там, – тихо сказала княгиня Урусова, вся красная, не поднимая головы.

– Была, миленькая, и чудо видела? – восторженно спросил гость.

– Нет, я тогда горько плакала, за слезами ничего не видела.

– Жаль, жаль... Так вот, светики мои, остригши Логина, возложили на него цепь тяжелую, лошадиную и, таща из церкви, били метлами и шелепами до самого Богоявленского монастыря, а народу-то, народу-то что на улице!

И кинули его там в палатку, в темницу, и стражу поставили. И что же бы вы думали! В ту ночь Бог ему шубу новую да шапку дал...

– Бог шапку и шубу дал? – восторженно спросила белокурая девочка, подходя к старику и глядя своими большими изумленными глазами в его глаза.

– Дал, миленькая царевна, Софей – премудрость Божия! – ласково сказал старик, любясь девочкой. – У Бога все возможно... Вон, когда наутро и Никонишке рассказали об этом, так он, рассмеявсь, аки пьяница на кружечном дворе, сказал: «Знаю, су, я пустосвятов тех!» – и шапку у него отнял, а шубу оставил прикрытия наготы ради.

– А в Сибири, отец, тяжело было жить? – спросила Морозова.

– И тяжело, и сладко, миленькая моя... Исходил я всю ее, студеную-то сторонку сибирскую. Был и в Тобольске, и в Енисейске, и везде-то за мной по пятам шла злоба Никонова. Мало ему было Енисейска, велел послать меня в Даурию с енисейским воеводою Афанасьем Пашковым. Уж и лют же был до меня оный Пашков, да Бог ему, Афанасью, простит. Вышли мы из Енисейска с полком казаков, в шестистах, водою, на дощениках. Уж и натерпелись же мы там: не один ковш горя выпили и не одно ведро слез пролили. Однажды ехали мы по большой Тунгуске-реке, и в ту пору встала буря, и погрузило бурей в воду дощеник мой – совсем налил среди реки полон воды, и парус изорвало; остались над водою одни палубы, а то все в воду ушло. Жена моя на палубы из воды деток-ребят кое-как повывтаскивала, мечется простоволосая, а я, на небо глядя, кричу: «Господи, спаси! Господи, помози!» А Бог от молитву людскую слышит и козявочку маленькую под листочком видит и бережет – и ухо Его святое везде, и рука Его благая повсюду... И волею Божию прибило нас к берегу; Бог берег меня, свою козявку бедную. Бог берег, так Пашков, в угоду Никону, души моей искал.

Взлютовал он на меня крепко, стал из дощеника выбивать: «для-де тебя дощеник худо идет, еретик-де ты, поди-де по горам, а с нами не ходи». Страх меня оковал тут: горы высоки до небес; дебри непроходимые; утес каменный, яко стена стоит, а поглядеть на него, заломя голову, так шапка валится... А в горах тех змии великие живут... И чего-то там нет! А все не так, как у нас на Руси: там и гуси, и утицы – перие красное, и вороны серые, и галки черные; там и орлы невиданные, и соколы дивные, и кречеты, и курята индейские, и бабы, и лебеди, и иные дикие, многое множество, птицы разные. А зверей-то там – и числа, и имени им нету: козы дикие, и олени с оленцами малыми бегают, и зубры велии, и лоси, и кабаны – клыком зубра прошибают, и волки, и бараны дикие воочию бродят, а взять нельзя. На те-то горы выбивал меня Афанасий, со зверьми рыскать да со птицами витать. Так я ему малое писанище написал. «Человече! – говорю, – убойся Бога, сидящего на херувимах и взирающего на бездны, Его же трепещут небесные силы и вся тварь со человеки – един ты презираешь Его...» Послал к нему. А и бегут человек с пятьдесят казаков: взяли мой дощеник и помчали к нему: а я казакам кашки наварил да кормлю их; а они, бедные, и едят, и дрожат, а иные, глядя на меня, плачут – жалко им меня. Привели дощеник. Взяли меня палачи, привели пред него. Он со шпагою стоит и дрожит весь от злобы. «Поп ты или распоп?» – кричит. «Аз есмь Аввакум, – говорю, – протопоп». Он же рыкнул, яко зверь дикий, и ударил меня по щеке, да по другой, да в голову и сбил меня с ног, да, ухватя цепь, лежачего по спине, а потом, раздевши, что липку, по той же спине семьдесят два раза. А я под кнутом-то молюсь: «Господи! помогай мне». А ему горько и досадно, что не говорю: «пощади». Стащили меня потом еле жива, в казенный дощеник, сковали и руки и ноги и на беть кинули. Осень в ту пору стояла глубокая; дождь на меня лил всю ночь – под капелью лежал хуже пса... Как били кнутом-то, так не больно было с молитвою-то; а тут, лежа под дождем, заплакал до Бога. Да и как было не плакать! Все кости-то щемью щемят; жилы-те клещами тянут; все сердце во мне с телом издрожалось, и я помирать стал... Увидали это казаки, плеснули мне в рот водицы – ожил, отошел... Наутро кинули меня в лодку и везли дальше. Привезли к порогу Падуну – страшен тот порог, зело крут; гребень во всю реку – только воротца малыя: что в воротца не попало, ино в щепы растрошит и разметет. Привезли меня под порог; со всего неба, кажись, дождь и снег собрался на меня, а у меня на плечах один кафтанишко; льет вода и по спине, и по брюху – углебоша воды до души моей... О! таково нужно было... Привезли потом меня в Братский острог и в тюрьму кинули – благо соломки дали. В те поры там зима злая живет – а меня Бог и без платья грел: что собачка на соломке лежу, о далекой Москве вспоминаю; коли накормят, коли нет, лежу да думаю... А тут эти мыши покою не дают, и я их, бывало, скуфьею бил – и батожка мне дурачки не дали... Все на брюхе лежал, спина гнила – да что о том вспоминать!

А молодые боярыни, по-видимому, все усерднее и усерднее работали над своими жемчугами, только подчас выступавшие на щеках пунцовые пятна да дрогнувшая рука обнаруживали их внутреннее волнение. Маленькая царевна Софьюшка также вся превратилась в слух.

– На весну паки поехали вперед; все дале и дале – к самому, кажись, концу света, – продолжал, немного помолчав, гость. – Дорогой все испроели и совсем обносились – мало душу не износили в лохмотья. И вдругорядь тонул я на Байкалове море, только Бог вынес из пучины морской. А море-то, миленькие мои, у какое свирепое было! Словно звери седые да косматые ходили по нем да рыкали. А после Байкалова моря по Шилке шли: тут Пашков заставил меня лямку тянуть. Что ж! и тянул. Чем я лучше других? А зело трудно и нудно было – и поесть было неколи, да и нечего, не то чтобы спать. Целое лето мучились от водяные тяготы; люди, что мухи, гибли, а у меня и живот, и ноги сини были – как и вынес! Два лета так-то бродили на водах, мерли да синели, а зимами через волокы волочились. А на той Шилке я в третий раз тонул, да все не утонул: оторвало мою барчонку от берега водою, ухва-

тило да и понесло; жена и дети на берегу остались – плачут, руки к небу возносят, хотят до неба докричать, а меня с кормщиком помчало – словно щепку нас буря подхватила... Переворачивает, это, нашу барочку вверх и боками, и дном, треплет, а я по ней ползаю, что козявочка, да кричу: «Владычице, помози!» Иное ноги в воде, а иное выползу наверх! Гнало с версту и больше, да люди у смерти отняли, – только все размыло до крохи. Да и крох-то этих было не густо. А что станешь делать, коли Христос да Пречистая Богородица изволили так? Их воля. Я-то, вышед из воды, смеюсь – рад, что жив, а люди те плачут, платье мое по кустам развесивши. А Пашков опять меня же хочет бить – мало ему, благо зажила спина. «Ты-де, – вопит волком, – сам над собою делаешь на посмеих!» Я-то сам топлю себя! И я опять Богородице-свету докучать: «Владычица! уйми дурака того!» Так она, надежа, уняла – жалко меня стало. Потом доползли до Иргеня-озера. Волок тут большой, стали зимою волочиться – волами поделались. Пашков отнял у меня работников, так я один уже и помаялся: детишки маленькие, едоков много, хоть и малы рты, а работник один я, горемыка-протопоп; нарту сам себе стюкал топориком, уложил деток да протопопицу – и волоку. А доволок, помогла Всепетая. А там и весна тепленька глянула: птички запели; травка зазеленела; речушки прошли – так мы по Ингоде-реке и поплыли на низ – четвертое лето от Тобольска плаванию моему и плаканию – всласть наплакался. Там лес гнали хоромный и городской – остроги ставили: Иркутск, Нерчинск, Албазин – много острогов нагородили. И стало есть нечего: люди учили с голоду пухнуть да помирать да от работные водяные бродни погибать. О-и-хи-хи! Река мелкая; плоты тяжелые; приставы немилостивые; палки большие; батоги суковатые; кнуты острые; пытки жестокие – огонь да встряска – люди голодные: лишь станут мучить, ан и умрет... Ах, времени тому! не знаю, как и ум от меня не отступился. А от Пашкова он ушел – да и был ли, полно? На Нерче-реке живучи, с травкою перебиваючися, голодом помирая, а он все лютует, все ему мало. Осталось нас малое место, которые не перемерли, и мы, отай от него, по полям да по степям скитающиеся, что кроты коренья копали. А пришла зима – сосну грызли, аки зайцы, а иное и кобылятинки Бог даст, либо кости находили зверей, что волки зарезали, и что волк не доест, мы доедим; а то и самых озяблых волков да лисиц ели и всякую скверну. Кобыла жеребенка родит, а голодные отай и жеребенка, и место скверное кобылье съедят. А Пашков сведал – и кнутом до смерти забьет. И кобыла умерла – все извод взял, понеже не по чину жеребенка того вытащили: лишь голову появил, а они и выдернули да почали черовь скверную есть. Ох, времени тому! И сам я, грешный, волею и неволею причастник тем кобыльим и мертвечьим сквернам и птичьим мясам. Увы, грешной душе моей, юже аз погубил житейскими сладьми! Ох, времени тому страшному!

– О-ох! – вырвался страстный стон из груди Морозовой.

Молодая боярыня бросилась перед Аввакумом на колени и, схватив его руку, покрывала ее поцелуями.

– Батюшка! свет ты наш – мученик Христов! – шептала она страстно.

Аввакум встал в сильном волнении и силился приподнять молодую боярыню, которая целовала его рясу, а потом припала к ногам.

– Господь с тобой, дочушка моя по Христе, Федосьюшка милая, светик мой! – бормотал он растерянно, радостно, сияясь приподнять молодую женщину. – Встань, дитя Божье!

– О-ох свет наш учитель! Дай мне, грешнице, ноги твои святые слезами омыть и косою моею мерзкою вытереть, – шептала боярыня, ломая свои пухлые ручки.

Аввакум приподнял ее, бережно прижал ее голову к своей груди и дрожащею рукою крестил плачущую женщину.

– Господь над тобой, дочушка! Ангелы осени тебя чистые! Успокойся, дитятко! – ласково говорил он, усаживая ее.

Княгиня Урусова также всхлипывала, припав головой к столу. Маленькая царевна стояла вся красная, готовая заплакать.

Морозова села. Грудь ее сильно поднималась под малиновой душегреею, губы дрожали. Аввакум с трудом пришел в себя.

– Разбередил я вас, старый дурак, миленькие мои – простите! – говорил он в волнении. – И что ж, светы мои, гляючи на вас, скажу: ближе к Богу жена стоит, нежели муж. Ей-так! Ей-ей, воистину так! Недаром Господь жену создал из ребра мужчины, а мужа из персти земной, из грязи. Тем и выше жена мужа, и чище его духом и телом. Не вы первые, светики мои, не вы последние пример тому: уж коли женщина верит, так ее вера – алмаз крепок и сила в ней несокрушимая. Вот хоть бы обо мне сказать: когда мы помирали голодною смертию в даурской далекой стороне и питались скверною всякою, мертвечиною и сосною, нас от смерти спасли жены воеводские: жена одного Афанасья Пашкова, Фекла Семеновна, боярыня, да боярыня воеводская сноха, Авдотья Кирилловна, они нам от смерти голодной тайно давали отраду: без ведома его, Афанасья, пришлют иногда кусок мяса, иногда колобок, иногда мучки и овсеца, сколько сойдется – четверть пуда, и гривенку-другую, а иногда и полпудика накопят и передадут, а иногда у куров корму из корыта нагребут да нам на обед либо на ужин пришлют. А раз и курочку живую дали. Черненькая была курочка, хохлатенькая и в штанишках, говорунья такая – все, бывало, каждое утречко: «Коко-коко! Коко-коко!» Ан глядь – два яичка снесла, да так по два яичка на день и приносила робяти нашему на пищу, Божиим поведением нужде нашей помогая: Бог так строил. Да увы! на нарте везучи в то нужное время, удавили ее по грехом нашим, недоглядели. И плакали по ней, гораздо плакали. И нынче жаль мне курочки той, как на разум, голубушка, придет. Не то курочка, не то чудо было от Бога: во весь год по два яичка давала – сто рублей при ней плюново дело! Жалею... И та курочка, одушевленное Божие творение, нас кормила, и сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или и рыбка прилунится, и рыбку клевала и нам против того два яичка на день давала. Слава Богу, вся сотворившему благая! И не просто она нам досталась. У боярыни той воеводши куры все переслепли и мереть стали, так она, собравши в короб, ко мне их прислала: чтоб-де батько пожаловал – помолился о курах. И я подумал: кормилица то есть наша, детки у нее, надобны ей куры. Да молебен пел, воду святил, куров кропил и кадил; потом в лес сбродил, корыто им сделал, из чего есть, и водою покропил, да к ней все и отослал. Курки Божиим мановением исцелили и исправились по вере ее, боярыни. От того-то племени и наша курочка была. Да полно того говорить – у Христа не сегодня так повелось. Еще Косма и Дамиан человеком и скотом благодетельствовали и целили о Христе. Богу вся надобна: и скотинка, и птичка во славу Его пречистого Владыки, еще и человека ради. А все жаль курочки той...

Вдруг послышалось тихое, сдержанное всхлипывание. Поглощенные рассказом Аввакума, мысленно бродившие с ним по далекой, неведомой даурской земле и по Нерче-реке, молодые боярыни не заметили, как маленькая царевна, тоже жадно слушавшая странного старичка и не спускавшая с него своих больших изумленных глаз, припав своей белокурой головкой к коленям княгини Урусовой, тихо плакала.

– Что с тобой, солнышко царевна? Об чем ты изволишь плакать? – встревоженно спрашивала молодая княгиня, приподнимая со своих колен заплаканное личико Софьюшки-царевны.

Девочка не отвечала, только розовые губки ее снова складывались, чтобы заплакать пуще прежнего.

– Христос над тобой, солнышко светлое! Об чем плакынькаешь? – допрашивали ее обе сестры боярыни. – А? поведай нам – об чем?

– Жалко, – отвечала девочка, сиюсь сдержать слезы и как бы глотая их.

– Кого жалко, золотая?

– Курочку жалко...

– А! Курочку!.. – все улыбнулись. – Что ж теперь плакать об ней? Вон мы не плачем...

– Нет, и вы плакали.

– Мы плакали о батюшке, об отце Аввакуме, какие он там муки терпел... А тебе батюшку жалко? а? Скажи, золото червонное.

Девочка посмотрела на Аввакума. Тот ласково улыбался ей.

– Что меня, старого-то ворона, жалеть, осударыня царевна! – сказал он, подходя к ней и крестя ее головку. – Я вон жив – брожу, а курочка-то умерла.

В это время в комнату вошла, переваливаясь, как не в меру накушавшаяся утка, полная, с ожиревшим лицом и мешковатым подбородком, пожилая женщина. Заплывшие жиром глазки чуть-чуть выглядывали из своих щелей, словно тараканы.

Женщина, увидав Аввакума, тотчас подошла к нему под благословение. Тот осенил ее истово, двуперстно, изобразив из своих пальцев сорочий хвост.

– Я-то, старая, царевну ищу, а моя царевна вон где, – заговорила вошедшая женщина, кланяясь хозяйкам в пояс. – Она, моя голубушка, знает, где коломенской пастилой кормят.

– Нету, мамушка, я не ела пастилы, – отвечала девочка.

– Ах мы, скверные! – спохватилась Морозова. – Заслушались слова Божия, а о пастиле-то и забыли... А нам свеженькой, двухсоюзной прислал милый княжич наш, Васенька Голицын. Сбегай, Дунюша, принеси... и батюшку попотчует, как та курочка черненька, хохлатенька.

– Ах вы, курочки мои золотые, балуете старика, – любовно говорил Аввакум, провожая глазами Урову.

– А никак ты, царевнушка, плакынькала? – сказала толстая мамушка, вглядываясь в глаза девочки. – Об чем слезки жемчужны?... а?

– Об курочке, как курочку задавили...

– Это я, старый ворон, каркал... раскивилл царевну, – вмешался Аввакум. – Курочка у меня в Сибири была.

– Осударыня царевна! – послышался вдруг молодой звонкий голос в дверях. – Осударыня царица приказала тебя кликать – учитель пришел.

Это была молоденькая дворская сенная девушка с розовыми щеками.

– Какой учитель? – встрепенулся Аввакум, обращаясь к маленькой царевне.

– Симеон Ситианович, – бойко отвечала девочка.

– А! Симеон Полоцкий... хохол... умник белорусский, – брезгливо заметил Аввакум. – Чему же это он учит тебя, государыня царевна?

– И письму, и цифири, и великим хитростям, – быстро заговорила девочка, – псалтырь виршами, и небо мне показывает, и планиды... есть планида Крон, есть планида Ермий, и звезды веществом чисты, образом круглы, количеством велики, явлением малы, качеством светлы, а земля черна и кругла – она есть кентр всего мира...

Девочка захлебывалась от торопливости, желая разом выложить все свои знания. Личико ее разгорелось, глаза блестели. А Аввакум, слушая ее, только головой качал.

– Ну, научат добру эти хохлы, научат...

## IV. Стенька Разин у Никона

Тяжелое, очень тяжелое было это время – шестидесятые годы XVII столетия, к которым приурочивается наше повествование, – такое тяжелое время, что едва ли и переживала когда-либо подобную годину святая Русь, хотя она уже и вынесла на себе и двухсотлетнее татарское ярмо, и лихолетье Смутного времени, и великое моровое поветрие; в эти тяжелые шестидесятые годы Русская земля раскололась надвое – разорвалось надвое русское народное сердце, надвое расщепилась, как вековое дерево, русская народная мысль, и самая русская жизнь с этих несчастных годов потекла по двум течениям, одно другому враждебным, одно другое отрицающим.

И раскол Русскую землю и русскую жизнь надвое не Никон, которому приписывают это расчленение великого царства раскольники, и не Аввакум, которого история считает первым заводчиком так называемого раскола, или старообрядчества, – нет, клином, расколовшим Русскую землю и русскую мысль надвое, был просто типографский станок – это величайшее измышление человеческого ума, – станок, привезенный в Москву теми, которых батюшка Аввакум называл «хохлами» и о которых он говорил маленькой царевне Софьюшке, что они «научат добру»...

Дело было так. Привезли «хохлы» в Москву этот пагубный станок, оставили на печатном дворе, и началось в Москве печатание церковных, богослужебных и иных душеспасительных книг. А до этой поры на Москве и по всей Русской земле были книги писанные. В писанных книгах, само собою разумеется, было много описок, неточностей, разноречий: по одному списку в Символе веры значилось – «Его же Царствию не будет конца», а по другому – «несть конца», в одной книге об Иисусе Христе говорится – «рождена, несотворенна», а в другой – «рожденна, а не сотворение», и ввиду этого разноречия одни принимали этот аз, а другие отменяли его. Было много и других подобных спорных вопросов. Типографский станок должен был примирить все эти споры: печать намерена была держаться чего-либо одного – и она нашла этот аз излишним. Люди, привыкшие слышать от купели своей в Символе веры этот аз, восстали за него.

– Нам всем, православным христианам, – говорили эти сторонники аза, – подобает умирать за один аз, его же окаянные враги (это «хохлы») извергли из Символа там, иде же глаголется о Сыне Божиим Иисусе Христе – «рожденна, а не сотворенна»: велика зело сила в сем азе сокровенна.

К сторонникам аза принадлежал и знакомый уже нам благообразный старец, протопоп Аввакум, вынесший ужаснейшие семь лет ссылки в Даурии и рассказывавший в предыдущей главе нашего повествования о своих страданиях в сибирской стороне боярыням Морозовой и Урусовой и маленькой царевне Софьюшке.

Когда «хохлы» привезли в Москву типографский станок, то в числе справщиков к нему был приставлен и Аввакум, или, говоря современным языком, Аввакум назначен был одним из редакторов для печатания на гутенберговском станке церковных книг; но когда Никон, под влиянием образованных «хохлов», вроде Епифания Славинецкого, и хитрых греков, вроде Арсения, начал коренное исправление в печати богослужебных книг и когда благочестивый Аввакум с товарищами объявили, что за аз они скорее умрут, чем позволят выбросить его в корректуре Символа веры, и при этом не послушались решения целого совета, или собора святителей, то их и подвергли разным наказаниям и ссылкам.

Затем, когда упрямый и властолюбивый Никон, в гневе на царя, оставил патриарший трон и удалился в свой монастырь, сторонники аза в большинстве случаев были возвращены из ссылки. Возвращен был из Сибири и Аввакум. И вот после этого мы и видели его в беседе

с Морозовою и Урусовою в вечер вторичного возвращения Никона из Москвы в свой монастырь.

Это и есть начало раскола в Русской земле; величайшее в истории внутреннего развития русского народа событие совершилось таким образом из-за простой корректуры, вызванной все тем же пагубным станком Гутенберга.

Такие мысли, как волны под давлением порывистого ветра, обуревали поседевшую голову Никона, когда он, на другой день после неудачной поездки в Москву, стоял во время обедни в своей Воскресенской церкви и прислушивался к монотонному чтению иподиаконом Апостола.

«Литеры малые, да слова, да препинательные знаки, да перстное сложение... Экую бурю подняли оные литеры! На весь мир буря... А все сей станок печатный...»

Так бессвязно думал он, напрасно силясь вслушаться в чтение иподиакона. Как изменился он со вчерашнего дня! Словно бы выдержал необыкновенный пост или тяжкую болезнь.

Но, как он ни был занят своими думами, он не мог не заметить какого-то неизвестного человека, который стоял у правого клироса перед изображением Спасителя, несущего крест, и горько плакал. По виду он не казался москвичом, да и костюм его отличался от обыкновенного московского платья. Никону виднелся несколько его профиль с характерным широким носом, подстриженный довольно высоко, толстый, как у вола, затылок; такая же шея и широкие плечи; вся коренастая, невысокая фигура его казалась крепкою, точно выкованною молотом на наковальне.

Всю обедню незнакомец молился и плакал: Никон видел, как он припадал головою к полу, долго не поднимал ее и как при этом вздрагивали от плача его могучие плечи.

«А должно, большое горе на душе у него», – невольно думалось патриарху: ему самому, разбитому и поруганному, понятнее теперь становилось всякое человеческое горе.

После обедни незнакомец подошел к нему под благословение; необыкновенно добрые и, по-видимому, робкие, с какою-то скрытою, неуловимою мыслью глаза произвели на патриарха невольное впечатление. В глазах этих было что-то чарующее, покоряющее своей мягкостью, в которой сказывалась сила.

– Ты не здешний? – спросил его Никон, поднимая правую руку для благословения.

– Не здешний, великий государь владыко, – смело отвечал незнакомец.

– Не называй меня великим государем, – остановил его патриарх, – прошло мое государство.

Незнакомец смотрел на патриарха, по-видимому, не вполне понимая его.

– Я токмо патриарх, а не великий государь, – продолжал Никон с дрожью в голосе, – великий государь у нас один – царь Алексей Михайлович... А ты откуда и кто таков родом?

– Я с Дону казак, святой владыко, Степаном называюсь, по-нашему Стенькою, а по прозванию Разиным... Был на Дону на атаманстве, а теперь иду молиться – душу спасти<sup>5</sup>.

– Доброе дело, – сказал патриарх и благословил его. – Куда ж ты идешь молиться?

– Кланялся я на Москве Московским святителям, а теперь иду поклониться Соловецким, да к тебе, великий патриарх, зашел просить твоего благословения всему тихому Дону.

– Благое твое намерение, – ласково и задумчиво сказал Никон, – я рад тебе, Степан, заходи ко мне, я с тобою поговорю.

Разину на вид казалось лет около пятидесяти, а может быть, и меньше. В широкой, окладистой бороде его серебрилась резкая проседь. Невысокий лоб разрезывался надвое длинною характерною морщиною. Лобная кость казалась сильно выдавшеюся над глазами. В выражении лица читалось что-то задумчивое, невысказываемое.

---

<sup>5</sup> Встреча Разина с патриархом Никоном – плод авторской фантазии.

Патриарх вышел из церкви, а Разин остался, чтобы приложиться к иконам и отслужить панихиду по новопреставленной рабе Божией девице Дарье. За панихидой он плакал еще неутешнее, чем за обедней. Кто была эта новопреставленная Дарья – это знал один только Стенька.

После панихиды к нему подошел посланный от патриарха – это был его неразлучный крестоноситец Иванушка Шушера – и позвал в патриархии келью.

Никон писал что-то, когда ввели к нему Разина. Патриарх указал ему место на скамье, а сам остался в кресле с высокою спинкою, на которой вышит был малиновый крест, как бы осенявший голову патриарха.

– Я рад тебя видеть, Степан, – снова сказал патриарх приветливо, взглядываясь в красивые глаза гостя. – Что у вас на Дону слышно?

– Слухов у нас, владыко святой, ходит немало, а все больше слухи московские, – отвечал Разин.

– Какие же такие московские слухи?

– О московском настроении ходят слухи – на тебя-де, великого патриарха, гонение неправое от бояр: таковы у нас слухи.

– И то правда, – сказал Никон, сверкнув глазами, – боярам я поперек горла стал – не давал им воли, так они наплели на меня великому государю многие сплетни безлепично, и оттого у меня с великим государем остуда учинилась на многие годы. Я сшел с патриаршества, дабы великий государь гнев свой утолил, а они без меня пуще распалили сердце государево. Теперь меня, великого патриарха, хотят судить попы, да чернецы, да епископы – дети собираются судить отца... А у меня один судья – Бог!

Патриарх чувствовал, как раскрывались в его душе свежие раны, и голос его крепчал все более и более.

– Теперь я стал притчею во языцех: бояре надо мной издевки творят, мое имя ни во что ставят, из Москвы и из святых московских церквей меня, великого своего патриарха, выгоняют, аки оглашенного; ни меня до царя не допускают, ни царя до меня. Враги мои, не зная над собою страха, играют святостию, кощунствуют. Вон теперь Семенко Стрешнев что чинит с своею собакою – и сказать страшно. Он, вор Семенко, научил своего пса сидеть на задних лапах, а передними – благословлять!

– Благословлять! Собаку научил благословлять! – невольно вскрикнул Разин и вскочил с места. Глаза его загорелись – он в этот момент совсем не походил на прежнего, тихого, с кротким выражением глаз Разина. – Это боярин научил собаку?

– Да, боярин Стрешнев, на ушке у царя он... И называет эту собаку Никоном-патриархом – Никонкою... Когда соберутся у него гости, и он зовет ту собаку: «Никонко! Никонко-патриарх! Поди, благослови бояр...» И бессловесный пес кощунствует, ругается над нами и над благословением Божиим... Вот до чего мы дожили...

Никон встал и в волнении заходил по келье, стуча посохом.

– Так мы тряхнем Москвою за такое надругательство над верою, – мрачно сказал Разин. Он был неузнаваем. Прекрасные глаза его остоячились, нижняя челюсть дрожала.

– Они хуже бусурман, – глухо продолжал он. – Мы с них сдерем боярскую шкуру на зипуны казакам, а то у нас на Дону гольтьба, худые казаки давно обносились.

Он как бы опомнился и снова моментально ушел в себя, только глаза его вопросительно обратились на патриарха.

– Теперь хотят судить меня судом Вселенских патриархов, – продолжал Никон также несколько более спокойным голосом. – Я суда Вселенских патриархов не отмечаю – ей! не отмечаю! Токмо за что судить меня? Если за один уход с престола, так подобает и самого Христа извергнуть – Он много раз уходил страха ради иудейска... А я сшел с престола, бояся гнева царева и козней боярских: они хотели многим чаровством опоить меня, да и опоили

бы, только Бог меня помиловал – безумем камнем да индроговым песком отпилился от того чаровства.

Он остановился. Разин стоял, глубоко опустив голову.

– Садись, Степан, что ты встал? – сказал патриарх, как бы намереваясь переменить разговор.

Разин молча сел и продолжал о чем-то думать.

– Так как же, Степан, когда ты в Соловки думаешь идти? – спросил Никон.

– Пойду ныне же, чтоб к весне на Дон воротиться, – отвечал Разин раздумчиво.

– А у нас не поживешь?

– Поживу, помолюсь, коли милость твоя ко мне будет.

– Живи, у нас место найдется, и корм будет.

– Спасибо, святой патриарх.

Потом, немного помолчав, Разин спросил:

– А твое великое благословение на Дон будет?

– Я Дон благословлю иконою, – отвечал патриарх.

– А что мы казацкою думою надумаем – и то благословишь?

– Коли на добро православным христианам и во славу Божию, то будет и мое благословение. По тебе сужу, что донские казаки не суть рабы ленивые у Господа – молятся нелепно.

– Плоха наша молитва, – отвечал Разин грустно, – не высоко подымается.

– Для чего не высоко?

– Должно, грехи не пушают до неба – не доходит до Бога, – продолжал Разин как-то загадочно.

– Не дело говоришь, Степан, – строго заметил патриарх, – Бог и высоко, и низко живет – до Него все доходит.

Разин молча покачал головою и вздохнул.

– У тебя, Степан, я вижу, горе есть на душе, – сказал Никон, зорко вглядываясь в своего собеседника.

Разин молчал, только рука его, брошенная на колени, задрожала.

– А кто виною печали твоей? – с участием спросил патриарх.

– Те же, что и твоей, владыко святой, – еще загадочнее отвечал гость.

– Ноли бояре?

Дверь в келью отворилась, и на пороге показался Иван Шушера, бледный, испуганный.

– Ты что, Иванушко? – тревожно спросил патриарх. – Что случилось?

– Бояре со стрельцами приехали.

– Спира воинская... взять меня хотят, яко Христа в саду Гефсиманском, – сказал он, вставая во весь свой рост. – Слуги Анны и Каиафы идут за мною<sup>6</sup>.

Разин также вытянулся и выхватил из-под полы кафтана огромный нож.

– Что это? – тревожно спросил Никон.

– На бояр, – сипло отвечал гость.

Никон вздрогнул.

– Нет, не буди Петром... вложи нож... Всяк, иже нож изъемлет, от ножа погибнет, – торопливо говорил патриарх.

Разин был страшен. Казалось, что волосы на голове у него ходили – так двигалась кожа на его плоском, широком черепе.

– Вложи нож, Степан, вложи! – повторил Никон, слыша шум в сенях.

Разин спрятал нож.

---

<sup>6</sup> Евангелие от Иоанна (18: 13–24).

– Так к нам на Дон – мы не выдадим, – сказал он угрожающим голосом, – мы их раз-этак...

В дверях показалось иконописное лицо Одоевского, а за ним харатейный лик дьяка Алмаза Иванова.

– Анна и Каиафа, – громко сказал патриарх, откидывая назад голову, – кого ищите? Се аз есмь...

– Комедиант! – проворчал про себя Алмаз Иванов. – Эки действия выкидывает.

Но, увидав лицо Разина, замолчал и попятился назад, к дверям, откуда высовывались бородатые лица стрельцов.

– Иди с Богом, сын мой, – сказал Никон, благословляя Разина. – Помолись обо мне.

Разин вышел, косо поглядывая на стрельцов и меряя их с головы до ног своими большими глазами.

– Эки буркалы, – проворчал один стрелец со шрамом через всю щеку. – Н-ну глазок!

## V. Аввакум и боярыня Морозова

Боярыня Морозова, которую мы видели в беседе с Аввакумом и которую беседа эта так сильно потрясла, принадлежала к самой знатной боярской семье в Москве. Она была снохою знаменитого боярина Бориса Морозова, того Морозова, которого Тишайший царь считал не только своим «приятелем», но почитал «вместо отца родного». Со своей стороны и Борис «сему царю был дядька и пестун, и кормилец, болел об нем и скорбел паче души своей, день и ночь не имея покоя». А боярыня, молодая скромница Федосьюшка, была что глазок во лбу у этого царского пестуна и кормильца: Федосьюшка, вышедши на семнадцатом году замуж за Глеба, брата Борисова, недолго жила с мужем, который умер в молодых годах, оставив после себя единственную отраду молодой вдове – сына Иванушку. На этом-то Иванушке и на его молоденькой матери пестун царский и сосредоточил всю свою нежность. Любили молодую боярыню и при дворе: и ласковый царь отличал ее перед всеми боярынями и боярышнями, и царица души не чаяла в «леповиде и лепослове» Прокопьевне – молодая боярыня действительно была «леповида» – существо необыкновенно миловидное – и «лепослова» – потому что она была умна, много читала и прекрасно говорила «духовными словесы».

Но нерадостна была в то время жизнь молодой боярыни. Еще с мужем она могла чувствовать некоторую полноту жизни; при муже она была менее отчуждена от мира, менее казалась затворницей. А вместе со вдовством для нее наступала как бы жизнь без жизни, бесцельное прозябание и преждевременное старчество.

Громыхание посуды от утра до вечера, звон ключей от зари до зари, плетенья да вязанья, беседы с ключницами да мамушками и – как верх эстетического наслаждения – пение песен санными девушками – вот вся жизнь боярыни, каков бы ни был ее темперамент, каковы бы ни были годы и ее личные стремления.

Но не для всех женских характеров такая жизнь дает полное духовное удовлетворение... Морозова была из таких женщин, для которой громыхание золотой и серебряной посуды да звон ключей не составляли идеал жизни, – и она искала большего, более ценного для ума и сердца, чем золото. Богатые духовные силы ее требовали духовной работы; горячее молодое сердце искало любви не к одному сынку Иванушке, который еще был так мал, – искало борьбы, самопожертвований, идеалов. А идеалы она знала только по книгам – идеалы святителей, мучеников, высокие образцы христианской любви. Кругом себя и во дворце она видела только будничную сторону жизни, внешние дразги этой жизни, несмотря на ее блеск и роскошь, – и везде она чувствовала пустоту. Пустоту эту, как червоточину, она чувствовала и в себе, в своем сердце. Чтобы задавить этого червяка в душе, залить пустоту, в которой чахло ее теплое, отзывчивое сердце, – она вся окунулась в наслаждение своим богатством, своим высоким положением. Она окружила себя блеском и роскошью. Она поставила свой дом, и без того пышный, гремевший на всю Москву, поставила на царскую ногу; одной ей, ее прихотям услуживало в доме до трехсот человек прислуги; одно мановение ее беленькой ручки, игравшей жемчугами да яхонтами, приводило в движение всю эту ораву челядинцев, которые стремглав спешили исполнить волю и прихоть, какова бы она ни была, своей доброй, ласковой, сердечной боярыньки-света. Когда она выезжала из дому в своей богатой, «драгой и устроенной мусиею и сребром и с аргамачи многими» карете, запряженной двенадцатью лошадьми, «с гремечими чепьми», то за нею следовало «слуг, рабов и рабынь» сто, двести, а то и все триста, «оберегая честь ее и здоровье», а народ бежал толпами, хватая на лету алтыны и копейки, которые выбрасывала в окно кареты маленькая ручка боярыни. Сам Тишайший царь, встречаясь иногда с блестящим поездом своей «пучеглазенькой Прокопьевны», как он называл Морозову, приветливо ей кланялся, снимая свою шапку-мурманку.

А бояре и князья так издали сымали шапки и кланялись ей в пояс, стараясь хоть мельком взглянуть в блестящие из-под фаты глаза красавицы.

Но и это не удовлетворило ее, не наполнило ее души довольством, не заняло пустоты, в которой сохло ее молодое сердце. Она искала идеала... Одно время ей думалось, что она нашла этот идеал человека: то был Никон. В своем гордом удалении от царского и святительского блеска, в своем вольном изгнании он казался ей мучеником. Вся его прежняя жизнь – от босоножия, когда маленьким Никиткой он голодал и зяб без лаптей на морозе, до святительского клобука и посоха Петра митрополита, когда Никитка, ставший патриархом Никоном и «великим государем», гремел с амвона на истинного великого государя, – вся эта жизнь представлялась ей в ореоле и величии апостольства. Но когда, после неоднократных тайных посещений его в Воскресенском монастыре и после продолжительных бесед с ним, она нашла в нем сухого эгоиста и самолюбивого, властолюбивого и мстительного черствца – она горько оплакала этот мираж своего идеала.

И вдруг судьба столкнула ее с Аввакумом. Этот мощный ум, эта несокрушимая воля, хотя, по-видимому, мягкая и тягучая, как золото, в делах добра и железная в других случаях, эта великая, страстная, но детски наивная вера не только во всепроникаемость Божественной любви и всепрощения, но и в обряд, в букву, в последнюю йоту веры – все это глубоко потрясло восприимчивую душу молодой, пылкой женщины. Ей казалось, что она очутилась лицом к лицу с апостолом, мучеником, с тем первообразом и идеалом истинного человека, которого она в своей пылкой фантазии видела в фиваидских пещерниках, в столпниках, в обличителях нечестивых римских царей. Разве Сибирь – не та же страшная Фиваида, над которой она задумывалась при чтении житий святых? Разве сибирские земляные тюрьмы – не те же языческие узилища? А он, Аввакум, по всему этому прошел – прошел босыми ногами по льду и по горячим угольям. И он не очерствел, не застыл в своем высокомерии, как Никон; он молился, и плакал, и радовался своим страданиям, да мало того – каждый день молился за других, часы и заутреню служил, будь то в земляной тюрьме на соломе, в обществе мышей и тараканов, будь то в снежных сугробах, в лесу, на воде, на работах.

– Ох, батюшка-свет! святитель наш! Да как же ты службу-то служил при этих-то трудах да мучениях? – невольно воскликнула молодая боярыня, возвращаясь с сестрой из дворца и захватив с собой в карету своего дорогого гостя.

– А все так же, дочушка моя золота-яхонтова: идучи, бывало, дорогою, зимой, или нарту с детками и курочкой своей волоку, или рыбку ловлю, зверя промышляю, или в лесу дровца секу, или ино что творю, а сам правильцо в те поры говорю, пою молитвы, вечереньку либо заутреньку мурлычу себе, что прилучится в тот час, и плачу, и веселюсь, что жив, что голос мой в пустыне мертвой звучит, птички божьи мое моление слышат, и за птичек молюсь, и за деревцо – все ведь оно и Божье, и наше... А буде в людях я, и бывает неизворотно, или на стану станем, а товарищи-то не по мне, моления моего не любят, – и я, отступя людей, либо под горку, либо в лесок, – коротенько сделаю: побьюся головою о землю либо об лед поколочусь, об снег, а то и заплачется – и все сладко станет, коли голова об землю поколотится либо слеза горячая снег прожжет. А буде по мне люди – и я на сошке складеньки поставлю, правильца проговорю, молитовку пропою, в перси себе постучу, а иные со мною же молятся, плачут, а иные кашку варят – и тоже маленько молятся. И в санях едуци, пою себе да веселюсь, и в тюрьме лежа, пою да кандалами позвякиваю, а кандалный-то звон, тюремный, светики мои, слаще Богу звону колокольного: звонок, голосист звон-от тюремный!.. Везде, пташки мои, молюсь и пою, а хотя где и гораздо неизворотно, а таки поворчу, что собачка перед Господом, повою до неба праведного...

Аввакум еще более очаровал сестер, когда вместе с ним они из дворца приехали в дом Морозовой. Целые ряды челяди выстроились по лестнице и в сенях и низко кланялись, когда проходили боярыни: иные кланялись до земли; другие хватали и целовали ее руки,

края одежды. Аввакум следовал впереди хозяйки, благословляя направо и налево, словно в церкви.

При входе во внутренние покои навстречу боярыне вышла благообразная, бодрая старушка с прелестным белокурым ребенком на руках. Ребенок радостно потянулся к Морозовой, которая с нежностью выхватила его из рук старушки и стала страстно целовать.

– Ванюшка! Веселие мое! Цветик лазоревый!

Затем, как бы спохватившись, она быстро поднесла ребенка к Аввакуму. Щеки ее горели, по всему лицу разлито было счастье.

– Батюшка! Благослови мово сыночка – наследие мое.

Аввакум истово перекрестил ребенка, сунул легонько свою костлявую, загрубелую руку к раскрытому ротуку мальчика и, ласково, добро улыбаясь ему, стал гладить курчавую его голову.

– Весь в матушку-красавицу, токмо русенек – беляв волосками гораздо... А подь ко мне на ручки...

И протопоп протянул к ребенку растопыренные ладони. Ребенок смотрел на него пристально, с удивлением и, видя улыбку под седыми усами, сам улыбался.

– Подь же к деде на ручки, подь, цветик, – поощряла его мать, вся сияющая внутренним довольством и любясь добрым, нежным выражением лица сурового учителя.

– Иди-ка, боярушко, иди, миленький! – говорил этот последний.

Ребенок пошел на руки к Аввакуму. Мать вскрикнула от радости и перекрестилась. Перекрестилась и старушка. Все жадно и восторженно смотрели, как ребенок, взглянув в глаза Аввакума, потом обратясь к матери и к нянюшке, стал играть седой бородой протопопа.

– Ай да умник! ай да божий! – ласкал его протопоп. – А Бозю любишь? а? любишь, боярушко, Бозю?

– Маму люблю, – отвечал ребенок, оборачиваясь к матери.

Морозова только руками всплеснула и припала к ребенку, целуя его в плечо и вместе с тем страстно припадая губами к руке Аввакума, лежавшей на этом плече.

– А Бозю любишь? – настаивал Аввакум.

– Няню люблю, – снова невпопад отвечал ребенок.

– А Боженьку? – вмешалась мать, начиная уже краснеть от стыда и волнения. – Боженьку...

– Дуню тетю.

– Ах, господи! Ванюшка!

Аввакум поднес ребенка к киоте, которая так и горела дорогими окладами икон, залитых золотом, жемчугами, самоцветными камнями.

– Вот где Бозя! – сказал он. – Глянь, какой светленький.

Ребенок поднял ручку и стал махать ею около розового личика, прикладывая пальчики то к маковке, то к плечу и глядя на няню: «смотри-де – как хорошо молюсь».

Старушка няня, мать и «тетя Дуня» улыбались счастливо, радостно. Но Аввакум тотчас воззрился на пальчики ребенка: так ли-де, истово ли, мол, переточки складывает, не нико-нианскою ли-де еретическою щепотью?

– Ну-ко, ну-ко, боярушко, покажь переточки, как слагаешь крестное знамение...

– Ручку сложи, – подсказала мать.

Ребенок не сложил, а разжал левую ручку, а правой стал тыкать в левую ладонь... «Сорока-сорока, кашку варила, на порог скакала», – лепетал он, весело глядя в добрые глаза протопопа.

Мать вспыхнула и застыдившимся лицом уткнулась в ладони. Даже суровый протопоп не выдержал – рассмеялся.

– Вот-те и перстное сложение! Ах ты никонианец, еретик ты эдакий! А? вон что выдумал-по-никоновски молиться: «сорока-сорока – кашку варила...» Истинно по-никоновски!

– Матушка! срам какой! Владычица! – застыдились боярыни.

– Никонианец... никонианец, – добродушно говорил протопоп, – поди, чу, и табачище уже нюхает...

Старушка няня готова была сквозь землю провалиться.

– Чтой-то ты, батюшка, грех какой непутем говоришь! – защищалась она. – У нас и в заводе-то этого проклятого зелья не бывало... Вона, что сказал!

А Аввакум между тем старался сложить пухлые, точно ниточками перевязанные пальчики ребенка в двуперстное знамение; но как ни силился – не мог: пухлая ладонька или разжималась совсем, растопыривая пальчики как бы для «сороки», или сжималась в кулачок.

– Ну, мал еще – глупешенек, мой свет, невинный младенец, – говорил протопоп, передавая ребенка матери. – Подрастет – научим перстному сложению и в лошадки еще поиграем.

Аввакум окончательно покорила сердца молодых женщин. Морозова от волнения не спала почти всю ночь. Ей постоянно представлялась далекая, студеная и мрачная Сибирь и какая-то страшная, неведомая, еще более далекая Даурия, по которым бродил и мучился благообразный, святой и добрый старичок, страдал за перстное сложение... «Ах, какой он добрый да светлый!.. Ванюшка-то как его полюбил – все брадою его святою играл, словно махонький Христосик-свет играл брадою Симеона Богоприимца... Ах, нашла я мой свет, нашла! Пойду я за ним, как блаженная Мария Египетская... Ох, Господи, сподоби меня, окаянную... Аввакумушко! светик мой, батюшка».

Так металась в постели молодая женщина, охваченная волнением и жаром: то страстно шептала молитвы, то с такою же страстью сжимала свои нежные пухлые руки и била себя в полные перси. Она несколько раз вставала с постели и босыми ногами пробиралась к киоте, бросалась на пол и горячо, сама не зная о чем, молилась и радостно плакала. Опомнившись, что она повергается перед Христом простоволоса, в одной сорочке, сползающей с плеч, она стыдилась, вспыхивала сама перед собой и закутывалась в шелковое из лебяжьего пуха одеяло; но вспомнив, что и Марию Египетскую она видела на образах простоволосою, даже без сорочки, прикрытую только своей косою, она успокаивалась и снова падала ниц перед иконами...

«Ах, какой он светлый!.. И Ванюшку благословил... Ах, сыночек мой!.. А он сороку-то, сороку...» – бормотала она бессвязно.

Затем неслышными, босыми ногами прошла она в соседнюю комнату, где, освещаемый тусклым светом лампы, спал, разметавшись в постельке, ее Ванюшка. В комнате было жарко, и ребенок весь выкарабкался из-под розового одеяльца. Он улыбался во сне, а между тем и сонный выделывал ручками что-то вроде «ладушки»: молодая мать догадалась, что это он во сне проделывал «сороку», – и, счастливая, восторженная, не вытерпела, чтоб не поцеловать его босые ножки.

– Что ты, сумасшедшая, делаешь? – раздался за ней испуганный шепот.

Она вздрогнула и обернулась: за нею стояла старая няня и грозилась пальцем.

– Что ты, озорная! – накинулась няня на растерявшуюся боярыню. – Испужать, что ли, робенка хочешь, калекой сделать?

– Я тихонько, нянюшка, – оправдывалась пойманная на месте преступления молодая мать.

– То-то, тихонько! А чего Боже сохрани...

– Да он «сороку», няня, во сне делал! Ах, какой милый!

– А хуть бы и ворону, не то что «сороку», – ворчала старушка, – это с ним, с младенцем чистым, сами ангелы Божии играют – «сороку» сказывают ему – вот что! А ты, дура матушка, будишь его.

– Не сердись, няня, не буду.

– То-то не буду... Вот такая же дура – царство ей небесное – была и матушка твоя, боярыня Анисья Петровна, не тем будь помянута... Я тебя махонькую тоже нянчила, выносила вон какую красавицу, а покойница боярыня Анисья Петровна так же вот, как ты, однав ночью и приди в твою спальню, а ты лежишь в кроватке такой ангелочек – она и накинься тебя целовать... А я-то, старая гримза, тады помоложе была, крепко заснула, так и не слышала, что матушка-то твоя с тобой проделывает... Ты как вскрикнешь – да так и закатилась... Уж насилу добрые люди тебя, голубушку, отшептали на другой день... Так-то, не хорошо детей будить. Может, он, светик, с ангелами забавочки творит, а ты его пужаешь.

– Ну-ну, прости, нянюля, не буду никогда.

И молодая женщина бросилась целовать сгарушку.

– Ну, добро, добро! Пошла, спи! Ишь, полунощница... в одной рубашонке бродит простоволоса... Срамница! – ворчала старушка.

Только к утру Морозова угомонилась и заснула.

Протопоп Аввакум также беспокойно провел эту ночь. Воротясь от Морозовой к себе домой, на подворье Новодевичьего монастыря, что в Кремле, он застал у себя друга своего и сына духовного, Федора-юродивого. Даже такой железный человек, как Аввакум, удивлялся суровому подвижничеству этого юродивого. Он жил в это время у Аввакума.

– Зело у Федора того крепок подвиг был, – говорил о нем впоследствии Аввакум, – в день юродствует, а ночь всю на молитве со слезами, да так плачет горько, что душу разрывает. Много добрых подвижников знал, а такого другого и не видывал. Жил он со мной на Москве – уж и подивился я его великим подвигам! Бывало, ночью час-другой полежит, повздыхает, да встанет – тысячу поклонов отбросает – таково стучит лбом пред Господом да коленками бьется, а там сядет на полу – и ну плакать. Боже ты мой! Как уж плакал-то! Откуда и слезы берутся – не вем... Плачет-плачет, рыдает-рыдает, нарыдается гораздо, глаза попухнут от слез, да тогда ко мне приступит. А мне немоглось тогда. Приступит: «Долго ли тебе, протопоп, лежатьтося? Образуься, вить ты поп – как сорома нет!» А мне все неможется: так он подымет меня, говорит: «Встань, миленькой батюшко!» Ну и стащит как-нибудь меня; мне, в немощи-то, велит сидя молитвы говорить, а сам за меня поклоны бьет – и счету нет! То-то друг мой сердечный был!.. Скорбен, миленькой, был с перетуги великия: черев у него вышло в одну пору три аршина, а в другую пору пять аршин – так он же сам и кишки себе перемеряет – и смех с ним, и горе! На Устюге пять лет беспрестанно мерз на морозе бос, в одной рубахе – я сам сему самовидец. Тут мне он и учинился сын духовный: как я из Сибири ехал, у церкви в палатку прибежал ко мне молитвы ради и сказывал, «как-де от мороза в тепле том станешь, батюшко, отходить, так зело-де в те поры тяжко бывает». По кирпичью тому ногами теми стучает, что каганьем, а наутро опять не болят. Псалтирь у него тогда был новых печатей в келье – маленько еще знал о новизнах; и я ему подробно рассказал про новые книги; так он, схватив книгу, тотчас в печь кинул да и проклял всю новизну: зело у него во Христе вера горяча была! Не на баснях проходил подвиг, не как я, окаянный!

Такие суровые личности представляет этот век раскола Русской земли! Мрачная эпоха и породила мрак, который и доселе не может быть побежден светом – слишком мало этого света...

Юродивый молился, когда Аввакум воротился домой от Морозовой. Он также помолился и лег. Но сон его был беспокоен. Ему представилось во сне, что он все еще в селе Лепатицах, на Волге, где он был когда-то молодым попом. В село приходят медведятники с двумя медведями и «козами» в «харях», играют на бубнах и пляшут. И возгорается сердце

Аввакумово ревностью по Христе, и налетает он яростно на медведятников и на плясовых медведей, бьет и трощит их бубны, «хари» и домры и отнимает медведей, бьет их и гонит в поле. А тут откуда ни возьмись боярин Шереметьев, Василий Петрович, воевода казанский, плывет Волгою на судне богатом и велит привести к себе попа-бойца! «За что-де, сякой-такой попишка, медведей прогнал и медведятников побил?» – «За Христа-де ревновал»... Боярин хватъ попа-ревнителя в ухо, в другое! – «Ой! за что!» – «Вот тебе в третье ухо!» – Бац! – «Благослови-де сына моего, Матвея боярича». – «Не благословлю-де брадобрица, рыло скобленное: грех-де благословлять блудоносный образ»... И боярин велит столкнуть попа в Волгу – и, много томя, столкнули... Но не утоп протопоп... Богородица вынесла на берег... С бороды каплет вода, с волос каплет... И вдруг приходит девица лепообразная исповедаться у попа, и он, треокаянный, распалился на красоту девичью... И взял поп три свечи, прилепил их к налою, и возложил руку правую на пламя, и держал, дондеже не угасло в нем злое плотское разжжение: и – оле окаянства мерзкого! – то была не девица, а лепообразная боярыня Морозова.

Аввакум в ужасе проснулся и уже всю остальную ночь клал поклоны и плакал. Рядом с ним молился и плакал юродивый. Когда уже рассвело, они оба упали в изнеможении на пол. Пот с них лил ручьями...

– А все не до кровавого поту... ох! – стонал Аввакум и колотил себя в грудь.

## VI. Из-за аллилуйи

Морозова проснулась поздно, но пробуждение это было какое-то радостное, светлое, точно в эту самую ночь она нашла, наконец, то, что так долго и напрасно искала. Она припоминала и переживала опять весь вчерашний день и в особенности вечер, проведенный с Аввакумом. Мысли ее уже не витали в далекой Даурии, но воротились к Москве, ко всему, что ее окружало до сих пор, и во всем этом она находила теперь смысл, которого прежде понять не могла. Пустота, в которой она томилась, теперь казалась заполненной чем-то, чем – она сама не знала, но ей было светло и радостно. Ей тотчас же захотелось видеть людей, родных и близких. Ей казалось, что и с ними ей теперь будет легче – они стали как бы еще ближе к ней.

Сделав все распоряжения по дому, поиграв со своим Ванюшкой, который со вчерашнего вечера стал для нее еще милее и дороже, она велела заложить карету, чтобы ехать к Ртищевым, с которыми находилась в родстве и дом которых был оживленнее всех других боярских домов в Москве. У Ртищевых сходились и никонианцы, приверженцы западных новшеств, и сами западники – черкасские «хохлы» вроде Симеона Полоцкого и Епифания Славинецкого, и, наконец, приверженцы аза – сторонники Аввакума и его товарищей по дуперстному сложению, а вместе с тем по гонениям и ссылкам. Ртищевы и им подобные, которые как бы начали самозарождаться в Москве, конечно, не без влияния Запада, были первые сеятель, бросившие в русскую почву зерно, из которого выросла гигантская личность Петра. Ртищевы вызвали в Москву первую партию ученых «хохлов», заводчиков всех будущих новшеств. Но Ртищевы в то же время любили и свою родную старину. В них была какая-то мягкость, терпимость, которая старалась сблизить между собою людей двух враждебных лагерей, и оттого и «хохлы», и аввакумовцы, и никоновцы находили радушный прием в их доме, а сами хозяева: и старый Ртищев, Михайло, и молодой, Федор – готовы были ночи просиживать в беседах и спорах с людьми обеих партий: сюда и Аввакум приходил «браниться с отступниками» и «кричать» о сугубой аллилуйе, и Симеон Полоцкий – потолковать о «космографине», о «комидийных действиях» и о «планидах».

Хотя весь обиход жизни в доме Ртищевых покоился на старине, но новшества нет-нет да и проглядывали то в том, то в другом углу – в одеянии хозяев, в их словах, в их обхождении с людьми. Даже молодая Анна Ртищева не боялась рассуждать об «опресноках» и о «кентре» вселенной.

К этим-то Ртищевым и собралась ехать Морозова. Когда карета была подана, сенные девушки надели на свою боярыню бархатную, опушенную горностаями шубку, а на голову ей такую же горностаеву шапочку. «Уж и что у нас за красавица, боярынька наша – лазоревый цвет!» – ахали они, когда боярынька их, помолившись на иконы, проходила между двух рядов челяди – сенных девушек, разных благочестивых черничек и беличек приживалок, разных странниц, карлиц, дурак и юродивых. При этом старая няня повесила ей на руку шитую золотом калиту, наполненную мелочью для раздачи милостыни.

Когда она появилась на крыльце, выходившем на обширный двор, то весь двор и вся улица перед домом были уже наполнены народом: на дворе – это ее «слуги, рабы и рабыни», которые дорогою должны были оберегать честь и здоровье своей госпожи, а на улице – нищие, ждавшие подачек, и любопытствующие, желавшие поглазеть, как поедет пышная Морозиха. На запятках кареты и на длинных подножках у окошек ее стояли уже разряженные холопы. Тут же у самой кареты, на последней ступеньке крыльца сидел знакомый уже нам Федор-юродивый и заливался горькими слезами. Обыкновенно оборванный, без шапки, часто босиком и в одной рубахе, он теперь был одет в новенькую однорядку и в плисовые штаны; на ногах у него были новые козловые сапоги, на руках зеленые меховые рукавички,

а на голове – лисья шапка с красным верхом. Это его приказала нарядить сама Морозова, когда утром он явился к ней и держал что-то крепко зажатое обеими руками, которые он, при трескучем морозе, не разжимал во все время пути от подворья Новодевичья, где он ночевал, до дома Морозовой. Оказалось, что это у него крепко зажато было в руках благословение, посланное через него Аввакумом молодой боярыне. Обыкновенно когда у юродивого бывала шапка, то, подходя под благословение к какому-либо уважаемому им попу, вроде Аввакума или Никиты Пустосвята, он снимал шапку, принимал в эту шапку благословение, зажимал его в шапке, как нечто осязательное, и носился так с шапкою целый день, и когда случайно, в забывчивости или с умыслом надевал шапку, то начинал плакать, что «потерял благословение», что «обронил духа святая», что «улетел-де дух свят» и т. п.

– Ты что, Федюшка, плачешь? – ласково обратилась к нему Морозова, положив руку на плечо.

– О-о! как же мне не плакать? Шапку на меня красну надели, что на дурака, – плакался юродивый, мотая свою нечесаную бородку с проседью.

– Ничего, Федюшка-свет, – как же без шапки-то? Морозно гораздо.

– Лучше морозно здесь, чем жарко там, в аду.

– Ну-ну, добро, милый.

И Морозова, сняв с него шапку, бросила в нее из своей калиты несколько горстей денег.

– На, милый, раздавай бедненьким.

Затем взяла его за руку и вместе с собой посадила в карету. И на дворе, и на улице народ приветствовал такой поступок боярыни громким одобрением. «Ай свет наша матушка, Федосья Прокопьевна! буди здорова на многие лета!»

Седобородый, в высокой шапке с голубым верхом, кучер крикнул: «Гись!» Постромки всех шести пар белых лошадей, запряженных цугом, быстро натянулись. Двенадцать молодых вершников, в шапках с голубыми же верхами, сидевших на каждой упряжной лошади, приосанились, тронули, прокричали тоже: «Гись!» Загремели «чепи» и дорогая упряжь, завизжали по снегу полозья – и карета двинулась. Она ехала шагом. По обеим сторонам ее рядами шли «рабы и рабыни», но так, что всякий из нищих, желавший подойти к окну кареты, мог свободно пройти между рядами челяди. И впереди и по бокам валили толпы народа, тискаясь ближе к карете, к окнам ее. А из этих окон постоянно высовывалась – то белая, как комочек снегу, пухлая ручка боярыни и опускала в протянутые руки нищих либо алтын, либо денежку, то – из другого окна – корявая и жилистая, словно витая из ремней, рука юродивого и тоже звякала медью по протянутым ладоням нищих.

Шествие было очень продолжительно. И белая ручка, успевшая покраснеть от мороза, и корявая рука, которую не брал никакой мороз, продолжали мелькать то из одного, то из другого окна кареты и звякать медью. Но, наконец, одно окно отворилось, и оттуда, бормоча что-то и мотая головою, быстро вылез юродивый. Он остановился на боковом отводе кареты, продолжая мотать головою и комкать в руках шапку. Все ждали, что он намерен делать. А он, увидав стоявшего в стороне у забора нищего, у которого за неимением шапки седая, почти безволосая голова была повязана тряпицею, бросил ему свою шапку, закричав: «Лови, дедушко!» Нищий поймал шапку и начал креститься. Народ криками выразил свое одобрение. Потом юродивый, распоясавшись и увидав бабу с сумою, бросил ей пояс. Затем он снял с себя свою новую однорядку и также бросил в толпу, говоря: «Подуваньте, братцы!» Восторженным крикам не было конца. Наконец он снял с себя и сапоги, и онучи – и остался босиком и в одной рубахе...

«Го-го-го! – стонала толпа. – Федюшке жарко! божий человек!»

Скоро карета Морозовой въехала на двор к Ртищевым. Двор был обширный. За домом начинался сад. Высокие, вековые деревья были окутаны инеем. Звон «чепей», которыми

особенно щеголяла упряжь Морозихи, был так пронзителен, что вороны, сидевшие на деревьях, испуганно послетали с них и стряхнули целые облака инею.

На крыльцо выбежали стаи холопов и холопок встречать знатную, богатую барыню. Оглянувшись, Морозова увидела, что юродивый уже роздал всю свою одежду и, в одной рубахе и босиком, играл с ртищевскими дворовыми собаками, с которыми он был, по-видимому, в самых приятельских отношениях. Она только покачала головой и, сопровождаемая своею и ртищевскою челядью, вошла в дом. Навстречу ей вышла молодая Ртищева, боярыня Аннушка, та, что уже интересовалась новшествами и «кентром» вселенной, и поцеловалась с гостьей.

– Ах, сестрица-голубушка, у нас тут такая война идет, словно Литва Москву громит, – сказала она, улыбаясь.

– Какая война, сестрица миленькая? – спросила гостья.

– А протопоп Аввакум ратоборствует.

При слове «Аввакум» Морозова зарделась.

– С кем это он, сестрица?

– А со всеми: и с Симеоном Ситиановичем, и с батюшкой, и с братцем Федором.

Действительно, из другой комнаты доносились голоса спорщиков, и всех покрывал голос Аввакума. Морозова остановилась было в нерешительности, как вдруг на пороге той комнаты, где происходили споры, показалась седая голова.

– Ба-ба-ба! слыхом не слыхано, видом не видано! матушка, Федосья Прокопьевна! – приветливо заговорил высокий, с орлиным носом старик.

Вошедшему было лет под семьдесят, но смотрел он еще довольно молодцевато. Лицо его, несколько румяное, опущенное белою бородою, которая спадала на грудь косицами, карие, живые и смеющиеся глаза и улыбка выражали приветливость и добродушие.

Это и был глава дома, боярин Михайло Алексеевич Ртищев – москвич, одною ногою стоявший в древней Руси, а другую занесший уже в Русь новую.

– Добро пожаловать, дорогая гостья, – говорил старик и взял Морозову за обе руки. – Что тебя давно не видать у нас?

– Да недосужилось, дядюшка: на Верху, в мастерских палатах, делов было много, – отвечала молодая женщина.

– Знаю-знаю... Матушка-царица, поди, горы с вами наготовила к Святкам всякого одеяния: всю нищую братию приоденете и приобудете.

– Да, точно, дядюшка: государыня царица наготовила-таки милостыни не мало.

– О, подлинно! Она у нас, матушка, великая радетельница... Пошли ей, Господи... Что ж мы тут-то стоим? Иди, Прокопьевна, к нашим гостям...

– Да как же это, дядюшка? – затруднилась было молодая боярыня.

– Ничего, все свои люди – не мужчины, а попы... Иди-иди, посмотришь наши словесные кулачки, как Аввакум протопоп с Симеоном Полоцким на кулачки дерутся из-за аллилуйи.

Морозова вошла в следующую комнату. Посредине стоял Аввакум в позе гладиатора и, подняв правую руку, запальчиво кричал:

– На, смотри! Когда Мелетий патриарх Антиохийский ругался с проклятыми арианами насчет перстного сложения, то, подъя руку и показа им три перста, щепотью, как вот вы, никонианцы и табашники, показываете и креститесь, – и тогда не бысть ничто же. А как он, святитель, сложил два перста, вот так (и Аввакум вытянул вверх сложенные вместе указательный и средний пальцы), и сей перст пригнул вот так – и тогда бысть знамение: огонь изыде... На, смотри!

И Аввакум с азартом подносил пальцы к сухощавому, еще нестарому монаху, с крючковатым носом, большими еврейскими губами и еврейски-умными, лукавыми глазами. Это

был Симеон Полоцкий, недавно приглашенный царем из Малороссии для книжного дела. Ему было не более тридцати пяти лет, но он был худ. Бледное, бесцветное лицо изобличало, что его больше освещала лампада, чем солнце, и что глаза его больше глядели на пергамент да на бумагу, чем на зелень и на весь божий мир.

– Ты, протопоп, ложно толкуешь Мелетия, – мягко отвечал Полоцкий, – он сложил вот так два перста и к оным, а не просто пригнул большой палец – и вышло знамение от троеперстия, а не двуперстия.

Аввакум даже подпрыгнул было, как ужаленный, но, увидав Морозову, так и остановился с открытым ртом, собравшимся было энергически выругаться.

Низко наклонив голову, Морозова подошла к нему под благословение. Аввакум с чувством благословил ее. Потом она в пояс поклонилась Симеону Полоцкому и поцеловалась с молодым Ртищевым, с Федором.

– Вот, сестрица, – сказал, улыбаясь, Федор, – отец протопоп поражает нас, словно Мамаю.

– Да вы злее Мамаю! – по-прежнему горячо заговорил задетый Аввакум. – Все вы, двуперстники!.. А не в ваших ли еретических книгах (снова обратился он к Полоцкому) написано, будто жида пригвоздили Христа до креста? а?

– Что ж, коли написано? – спокойно отвечал Полоцкий.

– Как что ж! Али крест – живой человек! Вот ежели бы до тебя пригвоздили жида разбойника, так оно было бы так; а то на: Христа – до креста!

– А не все ли равно, до креста или ко кресту?

– Это для вас, хохлов, все равно, а не для нас... О! да я в огонь пойду за наше «ко» – оно истинное, и за него я умру.

Аввакум говорил горячо, страстно. Присутствие слушателей, и в особенности Морозовой, подмывало его еще более, придавало ему крылья. Он был оратор и пропагандист по призванию. Он «кричал слово Божие» везде, где только были слушатели, и чем больше была его аудитория, его паства, тем он охотнее выкрикивал слово Божие. В Сибири ему не перед кем было развернуться. А Москва – о! это великая аудитория для оратора. В Москве Аввакум не сходил со своего боевого коня.

– А не вы ли, новщики, разлучили Господа с Иисусом! – напал он с другой стороны на Полоцкого.

– Как разлучили? – спросил тот, улыбаясь своими еврейскими глазами.

– Так и разлучили, разрезали Господа нашего Иисуса Христа надвое.

– Я не разумею тебя, – отвечал Полоцкий.

– Да не вы ли на литургии возглашаете: «свят, свят, един Господь и Иисус Христос!» Для чего вы прибавили «и», иже? Это все едино, что «протопоп и Аввакум»: точно протопоп особо, а Аввакум особо.

– А! – несколько злою улыбкою протянул Симеон. – Мы не говорим – «Господь и Иисус Христос», а возглашаем – «Господь Иисус Христос».

– Для чего тут «и»? Новшество для чего?

– Это не новшество...

– Как не новшество!

– Не горячись, протопоп, выслушай меня... Ты не знаешь по-еллински и оттого споришь...

– И знать не хочу! Вить святители Московские Петр, Алексей, Иона и Филипп не по-еллински молились, и в их книгах значится – «Господь Иисус Христос», а не «Господь и Иисус Христос»...

– Да постой, потерпи, протопоп! – уговаривал его Полоцкий. – По-еллински не «Иисус» пишется, а «Иисус».

– Знать ничего не хочу! Нам еллины не указ!

– Как не указ? – вмешался было старик Ртищев. – Мы от еллин веру взяли...

– А теперь ее хотим испортить, – огрызнулся Аввакум.

– Да как же это так! – удивился Ртищев.

– А вот как, миленькой, – ласково обратился он к старому боярину, – мы из начала веку пели на Пасху: «Христос воскрес из мертвых, смертию на смерть наступи»... А они как поют? Срам и говорить-то!

– Как срам?

– Да вот как: «смертию смерть поправ»... А! не срамота ли сие? Точно смерть порты али рубахи прала... «Поправ»! Ишь выдумали! Прать – прать и есть, сиречь «мыть».

– А попирать ногами? – вступился было Полоцкий.

– Да что ты смыслишь с своим хохлацким языком? – снова накинулся на него неужимый протопоп. – Суйся с своим еллинским языком, куда знаешь, а в наш российский язык с хохлацким не суйся! Ишь выдумочка какая: смерть сделали прачкой, портомоей... «поправ»... Эко словечко! Да вы разрежьте меня на кусочки, а я по-вашему петь не стану – срамота одна!

– Ну и крепок же ты, протопоп, – задумчиво сказал молодой Ртищев.

– Крепонек Божию помощью...

Морозова и Аннушка Ртищева сидели в стороне и слушали молча. Аввакум, чувствуя себя победителем, с торжествующим видом обратился к ним.

– Так-то, Михайловна, – сказал он со снисходительною улыбкою Аннушке, – слушаете нас, буюсловов? Слушаете – хлебец словесный кушаете... Не о хлебе едином...

– А что, отец протопоп, разнствует хлеб с опресноком? – перебила его Аннушка.

– Вижу, Михайловна, и ты половина ляховки, – строго заметил протопоп.

Аннушка покраснела и закрыла лицо рукавом. Морозова также вспыхнула – ей стыдно стало за свою приятельницу: ей казалось, что та сделала ужасный, непростительный еретический промах.

– А еще царских детей учат, чу, – укоризненно обратился неугомонный протопоп к старику Ртищеву, намекая на Полоцкого.

Полоцкий был задет за живое и побледнел. До сих пор он говорил тихо, голоса не возвышал, а отвечал с улыбкой, мягко, чувствуя свое превосходство и сознавая, что с ним состязается мужик, не знающий даже русской грамматики. Что ж с него и спрашивать! Но последние слова Аввакума показались для него злой выходкой. Полоцкий действительно учил царских детей, и Алексей Михайлович был им доволен, даже сам его расспрашивал о его «планидах» да о разных «комидийных действиях».

– Так не тебе ли с Никитою Пустосвятом да с Лазарем поручить обучение детей пресветлого царского величества? – сказал он, сверкнув глазами.

– А хоть бы и нам! Ересям бы не научили, – огрызнулся Аввакум.

– Да вы, навежды, запятой от кавыки не отличите, «ерок» примете за «оксию», «ису» за «варию»...

– Зато смерть портомоей-прачкой не сделаем, как вы, вежды, делаете то! Сидели бы в своей Хохлатчине да вареники с галушками ели! – снова оборвал протопоп. – А то на! Лазарь, чу... Лазарь крепок в вере – он истинный учитель.

– Лазарь ругатель, а не учитель.

– Нет, учитель! Лазарь – истинный вертоградарь церковный, а не суется царских детей портить... Вот что!

Симеон Полоцкий не вытерпел. Как он ни был сдержан, но и его, наконец, взорвало. Он вскочил и, задыхаясь, сказал:

– Да какие вы вертоградари! Вы свиньи, кои весь церковный вертоград своими пяточками изрыли.

Оба Ртищева невольно засмеялись. Старик так и покатился, даже за бока ухватился.

– Ха-ха-ха! Ну, отец протопоп, наскочил же ты на тихоню!.. Ха-ха! пяточками весь вертоград изрыли... Н-ну сказал! – говорил он, не будучи в состоянии удержаться от смеху. Морозова и молодая Ртищева скромно потупились.

Аввакум не сразу нашелся что отвечать – так неожиданно было нападение со стороны «тихони» Полоцкого, и притом нападение в духе самого Аввакума.

– Что ж! – бормотал он, озадаченный нечаянностью. – Ругатели-то не мы с Лазарем, а он, пес лающий, ему же подобает уста заградить жезлом...

– Ну, и ты, отец протопоп, скор на ответ, – засмеялся молодой Ртищев, – невестке на отместку...

– Не бойся, миленькой, в карман за словом не полезу: в кармане-то пусто, так на языке густо, – самодовольно проговорил несколько опомнившийся протопоп.

– Я не с ветру говорю, – начал, в свою очередь, Симеон Полоцкий, подходя к старику Ртищеву. – Вон его друг, Лазарь, подал царю челобитную и в ней гнилостными словесы говорит, якобы в церкви, на ектениях, поминаючи пресветлое царское величество тишайшим и кротчайшим, сим якобы ругаются ему, а «о всей палате и воинстве» он, Лазарь, в челобитной своей гнилословит, якобы здесь говорится не о здравии и спасении царя, его бояр и воинства, а о неких каменных палатах...

– А как же! Палата – палата и есть! – снова накинудся на него Аввакум. – Палата всегда и бывает каменная!

– О, невежда протопоп! – невольно воскликнул Полоцкий. – «Палата» означает всех бояр и близких к царскому величеству особ: се есть образ грамматический и риторский, именуемый синекдохе, еже различными образами бывает, егда едино из другаго коим-либо обычаем познавается.

– Толкуй! Знаем мы ваши синекдохы...

И потом, неожиданно обратясь к Морозовой, которая не спускала глаз со спорящих и даже побледнела от волнения, Аввакум сказал:

– Видишь, Федосья Прокопьевна? они молятся какими-то синекдохами, а я молюсь моему Господу поклонами да кровавыми слезами – и мне с ними кое общение? – яко свету со тьмою, Христу с Велиаром!

Морозова потупилась, и краска вновь разлилась по ее нежному лицу.

– Ах, Дунюшка милая! – говорила она потом вечером своей сестре, Урусовой. – Как страшно они спорили! И разошлись, яко пьяни...

## VII. Въезд Брюховецкого в Москву

Последняя неудачная попытка Никона воротить себе им же самим брошенный высокий пост патриарха и утраченную любовь царя, а вместе с нею полную, почти автократическую власть над ним, над его боярами и над всею Россиею шибко надломила этого гранитного человека, но, однако, не сломила окончательно. Как голодный тигр, который, сквозь неплотно притворенную дверь своей железной клетки просунув лапу за добычей и получив по ней удар раскаленной железной полосы, глухо рычит, забившись в дальний угол своей тюрьмы, и силится расшатать ее связи, так и Никон, изгнанный из Успенского собора, как оглашенный, как простой поп, затесавшийся не на свое место, лишенный даже посоха, чувствуя, что он получил удар от раскаленного царского скипетра прямо в сердце, силился не только расшатать основы им же самим созданной для себя тюрьмы, но тряхнуть и всею Русскою землею.

– Я тряхну ими, тряхну этими бояришками так, что они рассыплются у меня, яко лист желтый с осеннего древа, – часто бормотал он, ходя по пустым кельям своих монастырских покоев.

По целым дням сидел он иногда, запершись в своей молельне, которая служила ему и библиотекой, и, постоянно роаясь в книгах, писал по целым часам, глухо бормоча кому-то угрозы или обрывки из текстов Священного Писания. Часто исписывал он целые кучи бумаги, откидывая в сторону лист за листом: но потом на другой день, перечитывая исписанные листы, сердито тряс головою, рвал написанное и бросал в печку.

– Не то, не то, – шептал он, глядя на чернеющиеся и испепеляющиеся листы. – Кому озеро Лач, а мне горький плач... Али и я не сподобился острова Патмоса?.. Нет. Не хочу! Не быть тому!

И он снова ходил по кельям, стуча посохом и поглядывая в окна, словно бы он кого-то ждал. Иногда он останавливался перед образами, беззвучно шепча молитвы, иногда со стоном повергаясь на пол и колотясь об пол головою. Но потом снова вскакивал и начинал писать до утомления.

Дни шли за днями однообразно, мучительно, медленно; но когда он начинал оглядываться назад, то невольно шептал с ужасом: «Годы прошли, яко дни... жизнь прошла, яко миг... о, Владыко Всемилоствие!»...

Ежедневно посещал он службу, почти не вмешиваясь в ход богослужения, только иногда разве загремит со своего возвышения: «Не торопись! читай внятно!» – и снова опирается на посох, и снова задумывается.

Так прошло несколько месяцев. Прежде он наблюдал за всеми работами как в монастыре, так и вне его стен, а теперь, когда и весна пришла, зазеленел лес, покрылись зеленым бархатом молодых всходов поля, запели птицы, зажужжали пчелы монастырских бортей, безумно кричали грачи в монастырской роще, – он все оставался в кельях и, по-видимому, не находил себе места... Он ждал. Вся жизнь его, сон, бодрствование, молитва – все для него превратилось в ожидание – ожидание острое, саднящее, горькое. Лицо его из бледного стало бледно-восковым.

Часто в город ездили его монахи и, по возвращении оттуда, непременно обязаны были заходить к нему, чтобы доложить о том, что там видели и слышали. А он, слушая эти доклады, молчал и только иногда переспрашивал или требовал пояснения того, что казалось ему неясным.

Потом снова начинал рыться в книгах, читал, делал отметки и писал по целым часам. В это время он не впускал к себе никого, и даже любимец его Иванушка Шушера, его крестonosитель, входил к нему не иначе как по зову – когда слышал стук костыля в стену соседней

кельи, в которой Шушера помещался. Если с наступлением весны могло что-либо нарушить однообразие его отшельнической жизни, так это ласточка, свившая гнездо в одной из ниш на внешних переходах его келий. Раз как-то, в хороший весенний день, сидел он на этих переходах, переносясь мыслью в бурное прошлое своей необыкновенной жизни, вспоминая свое детство, когда, мальчиком, он жил в монастыре Макария Желтоводского и когда кудесник предсказал ему, что он будет «великим государем над царством Российским», припоминая и последующее затем житие его в Анзерском ските, с его суровой, почти могильною обстановкою, и пустынножительство свое в Кожеозерском ските, и потом славную и светлую жизнь в Москве, в Новгороде, перенос в Москву мощей митрополита Филиппа, свое могучее патриаршество... Ласточка, озабоченно попискивая, летала мимо него и в углублении невысокой стены лепила свое маленькое гнездышко. Сначала он хотел было костылем своим уничтожить всю многодневную работу птички, но потом почему-то на мысль ему пришло сравнение, что и он подобен этой жалкой ласточке, что и у него все его труды, все начинания его целой жизни разметал по ветру чей-то костыль, – и он пощадил ласточкину работу. Когда затем гнездо было свито, он каждый день выходил на переходы, смотрел, как из гнездышка робко высовывалась блестящая, черная головка птички с маленькими черными глазками, и ему как бы становилось легче. В глубине души он чувствовал, что это было первое существо, которое он первый раз в жизни пощадил, не растоптал ногами, не раздавил своим посохом... А он так много жертв раздавил на своем веку, так много проходило в памяти его сурового прошлого растоптанных, сосланных, замученных, так много слез людских пролито по его непреклонной, безжалостной воле... Когда в гнезде вывелись дети, он выходил смотреть, как мать кормила их от зари до зари, таская то червячков, то мушек, и долго сидел неподвижно, наблюдая за этою страдою маленькой матери... И – странное, невиданное дело! – монахи иногда замечали издали с глубоким удивлением, как суровый патриарх, в отсутствие ласточки, выносил из своей кельи мух в горсти и кормил ими птенцов... Даже Иванушка Шушера заметил, что в это время патриарх стал как будто несколько добрее, мягче, смотрел менее мрачно. Затем, когда ласточки оперились и улетели из гнезда, Шушера видел, что патриарх стал скучать, по целым часам безмолвно сидел на переходах или забирался в свою келью и шуршал бумагою.

Особенную озабоченность стал проявлять Никон в конце лета, когда получил из Москвы какое-то известие. Он несколько дней писал и уже не рвал и не жег написанного, а прятал за образ Богородицы «Утоли моя печали», перенесенный им из церкви в свою домашнюю божницу. В это время Шушера иногда слышал, как патриарх разговаривал сам с собою: «Одиннадцатое сентемврия... Память преподобной Феодоры и Димитрия мученика... одиннадцатое... одиннадцатое... подожду одиннадцатого»...

Что же такое могло быть 11 сентября и почему Никон рассчитывал на этот день?

А 11 сентября 1665 года и вся Москва ждала чего-то. С раннего утра от Серпуховских ворот вдоль Земляного города до самой заставы и далее по Серпуховской дороге толпились москвичи, ожидая чего-то необыкновенного. Сидельцы разных торговых рядов и линий, Охотный и Юхотный ряд, Лоскутный и Сундучный, мясники и ножевщики, шапочники и картузники, резники и свежерыбники, уличные разносчики и торговцы, суконные фабричники и зипунники всевозможных черных работ – все это валмя валило за город, шурша зипунами и сермягами, толкаясь и бранясь, спотыкаясь и падая. По всему этому пространству, где валили серые волны двуногой Москвы, гул стоял невообразимый, особенно же когда к Серпуховской заставе проследовало несколько сотен нарядных стрельцов со своими головами и полуголовами, а также несколько взводов детей боярских, а за ними царские конюхи, которые вели под уздцы царского коня – серого, немецкого, в серебряном вызолоченном наряде с изумрудами и бирюзой, чепрак турецкий, шит золотом, волоченный по серебряной земле, седло бархат золотный, – ушми прядет по аеру. Скоро туда же проследовали на нарядных

конях царский ясельничий Иван Желябужский и дьяк Григорий Богданов, а за ними дворовые люди и подьячие из приказов, а также конюхи – несколько сот человек.

Толпы москвичей особенно кучились за Земляным городом на расстоянии перестрела. Там, по обеим сторонам дороги, чисто выметенной и подровненной, шпалерами выстроились стрельцы, отливая на солнце пурпуром своих кафтанов и блестя вычищенными, как стекло, бердышами. Народ напирал на это место колыхающеюся стеною, но стена эта местами прорывалась и как бы падала назад, когда, бодрясь на коне и покрикивая: «Назад! осади назад, черти!», проезжал какой-либо окольный или сын боярский и колотил палкою по головам, по плечам и по лицу выдававшихся вперед или просто топтал лошадь, бросая в воздух крепкие, узловатые московские слова, словно бы у него за зубами был их целый склад. В толпе при этом слышались крики и стоны, а рядом – взрывы хохота тех, кому еще не досталось по лбу или досталось раньше да зажило, забылось.

Когда к этому месту подъехали Желябужский и Богданов с подьячими, конюхами и нарядным царским конем, вдали, по дороге от Серпухова, показалисьдвигающиеся толпы всадников, огромный обоз из карет и повозок, множество конных и пеших, а в хвосте, страшно поднимая пыль, медленно двигались кучи рослых, красивых волов, каких на Москве и не видано.

Выждав сближение этой встречной толпы, Желябужский приосанился на седле и махнул шитой ширинкой. Толпа остановилась, а к ней от Желябужского поскакал вершник с белой перевязью через плечо. Здешняя толпа понаперла так, что дрогнули было шпалеры стрельцов, но Желябужский сыпанул на обе стороны, грузно поворачиваясь на седле, такие крупные, как кнут, плетенные из междометий слова, что толпа, словно поражаемая картечью, шарахнулась назад.

Встречная толпа подъезжала все ближе и ближе. Впереди на вороном рослом и широкогрудом аргамаке, гремя серебряным убором, ехал статный, дородный мужчина уже немалых лет, с черными висячими книзу усами и в шапочке с пером, униженным камнями, которые горели как жар. Южный татарковатый тип лица и лоснившаяся из-под богатой шапочки гладко подбритая голова, кунтуш с расшитою золотом грудью и пурпурными отворотами, в руках серебряная палочка с огромным на конце золотым яблоком, утыканным дорогими камнями и острыми серебряными шипами, словно зубьями огромной щуки, – вот что прежде всего бросалось в глаза народу. За ним – три в ряд, потом два, далее четыре и несколько других рядов на конях – в таких же, как передний, но в менее богатых кунтушах, в шапках с разноцветными верхами, с саблями и перначами в руках – все с усами, а иные с длинными хохлами, закинутыми за ухо. Далее коляска с попом и монахом. А там – толпы пеших и конных, на возах и при возах, и в заключение – волы с рогами, перевитыми разноцветными лентами.

Народ замер на месте, дивуясь на невиданных людей и на волов в лентах.

Когда самый передний, что с булавой в руке, приблизился к Желябужскому, плотный и румяный, с русою бородою окольный медленно сошел со своего коня, снял шапку и крикнул:

– Есть до тебя войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича с старшиною речь от великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великая и Малая и Белая России самодержца, и вы бы с лошадей сели и шапки сняли, – произнес Желябужский по наказу, медленно, громко, внятно, как на ектенье в церкви.

Все сошли с лошадей и сняли шапки. Поп и монах вышли из коляски и прошли вперед. Народ также обнажил головы.

– Божию милостию, – продолжал Желябужский тем же церковным тоном, – великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великая и Малая и Белая России самодержец и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, жалую тебя, подданного своего, войска запорожского

сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, велел встретить и о здоровье спросить: здорово ли есте дорогою ехали? Бей челом оземь, – тихо под-сказал он.

Брюховецкий поклонился до земли. За ним припала головою к земле вся его огромная свита.

– Божиим произволением здоровы есмы, – отвечал Брюховецкий, подымаясь с колен и встряхивая чубом, который перевесился было на лицо. Поднялись с земли и встряхнули чубами все остальные.

– Кланяйся вдругорядь и благодари! – подшепнул Желябужский.

Брюховецкий поклонился вторично до земли. За ним поклонилась вся старшина; слышно было, как более тучные из них сопели: непривычно им было это московское кланя-нье – «вот земелька!»

– За спрос о здоровье благодарим премного его пресветлое царское величество, – снова сказал Брюховецкий, вставая на ноги.

– Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, – снова наладил Желябужский, входя окончательно в роль, – всея Великая и Малая и Белая России самодержец и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, его царское пресветлое величество, жалую тебя, подданного сво-его, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого, изволил к тебе прислать с своей царского величества конюшни коня, на коем тебе ехать на подворье.

По знаку дьяка стремянной подвел серого немецкого коня. Конь было заартачился, когда к нему подступил Брюховецкий, фыркнул и поднялся на дыбы; но гетман сразу осадил его и очутился на седле, словно прикованный к нему.

Совершив встречную церемонию, поезд Брюховецкого двинулся в город. По правую руку гетмана ехал Желябужский, по левую – Богданов, все трое в ряд, только конь гетмана выступал вперед на полголовы. Впереди, топча копытами и разгоняя палками толпу, словно неприятеля, пролагали путь, иногда по трупам москвичей, окольные и дети боярские со стрельцами. За гетманом следовали, кроме переяславского протопопа и гетманского духовника, атаман гетманского куреня, генеральный обозный, генеральный судья, два генеральных писаря, пять писарей канцелярских, атаман писарского куреня, два генеральных есаула и посланцы разных полков, с прислугою 313 человек. Под всеми ими и под обозом было 670 лошадей – целый огромный табунице. Тут же особо везли в дар царю пушку полковую мед-ную, взятую у казаков изменников, вели дорогого арабского жеребца, покрытого дорогою попоною, и гнали 40 волов чабанских, красoty неописанной, с развевающимися лентами на рогах. Толпы москвичей особенно теснились там, где ехал сам гетман, и в хвосте – где, поднимая облака пыли и меланхолически пережевывая жвачку, «ремегая», шли красивые волы, словно девчата, украшенные «стречками». Поезд также замыкали стрельцы, дивуясь на волов и оттесняя толпы. Знакомый уже нам стрелец со шрамом во всю щеку только руками о полы бился, любуясь волами.

– Уж и волы же, братцы, знатные, степные, словно сами хохлы, – говорил он товарищам.

– Что и говорить! И они, хохлы те, как есть волами смотрят. Ишь увальни черномазые! Ну, народец! – подтверждали другие.

В таком порядке и сопровождаемый москвичами, толпы которых прибывали как морские волны в бурю, поезд проследовал на посольский двор, который и был оцеплен стрелецкими караулами. Несмотря на то что любопытных не только не впускали никого на двор, но даже гнали и колотили на улице, москвичи, за неимением в то время других общественных зрелищ, кроме крестных ходов и кулачных боев, не отходили от посольского двора, стараясь

заглянуть в ворота, в окна или просто глядя на крыши, а иногда – что удавалось не всем – на усатую и хохлатую фигуру, показывавшуюся у которого-либо из окон посольского дома.

А в посольском доме и на посольском дворе шла необыкновенная возня с размещением гостей, их прислуги, пожитков, экипажей, лошадей и скота.

Не успели они разобраться, как Желябужский, успевший побывать во дворце, явился оттуда с целою стаею дворской челяди, которая притащила из дворца от государева стола целые горы судков и блюд «с ествою и питьем государевыми». Войдя в главную палату, куда вышел гетман со старшиною, Желябужский поклонился и начал заученную речь:

– Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великая и Малая и Белая России самодержец и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, тебя, подданного своего, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, жалуя, прислал к вам от своего государского стола еству и питье.

Гетман и старшина низко поклонились и благодарили, а дворская челядь тотчас же поставила стол, накрыла его скатертью и стала ставить на стол яства и питье по росписи. Золото и серебро так и ломило огромный дубовый стол.

Желябужский, подойдя к столу, налил большой серебряный ковш, как словно сосуд с Дарами.

– Чаша великого государя – царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великая и Малая и Белая России самодержца и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич, и наследника, и государя, и обладателя! Дай, Господи, великий государь – царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великая и Малая и Белая России самодержец и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, здрав был на многие лета! – провозгласил он и выпил ковш.

Гетман и старшина, повторив «многая лета», также пили из рук Желябужского и потом сели за стол. А Желябужский, сев особо и вынув из-за пазухи бумагу, развернул ее и, подав стоявшему около него дьяку, сказал: «Вычти вслух!»

– Великий государь – царь и великий князь Алексей Михайлович, – начал дьяк все с того же утомительного титула, – всея Великая и Малая и Белая России самодержец и многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель, жалуя подданного своего, сее стороны Днепра войска запорожского гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, изволил указать поденного корму и питья к выдаче, против посольского, с надбавкою: гетману по хлебу грошевому да по два калача грошевых на день. А старшине по хлебу грошевому да по три калача двухденежных. А людям их по хлебу грошевому да по калачу трехденежному человеку на день. Да гетману ж и старшине – по три гуся живых, по семи гусей битых, по трое утят живых, по семи утят же битых, по десяти зайцев, по десяти тетеревей, по пятидесяти куров живых на день.

Гетман и старшины ели, молча переглядывались и серьезно слушали. Только нет-нет да и дернется у иного ус от сдержанной улыбки.

– Да им же с людьми, – продолжал дьяк, – по яловице живой, по пяти ялович да по четыре стяга битых, по пяти баранов живых, да по двадцати-пяти баранов тушами, по два полтя ветчины на день, по три ведра без полутрети сметаны, по триста пятьдесят штук яиц, по пуду без полутрети масла коровья, по четыре ведра уксусу, по два пуда соли, по чети круп гречневых, по чети гороху, по осмине муки пшеничной, а буде мало – давать по чети; по три ведра молока пресного; на всякую мелочь по четыре гривны на день, а буде мало – ино давать по полтине. А питья давать им указано...

При слове «питья» генеральный судья Петр Забела, черный коренастый мужчина, многозначительно переглянулся с сидевшим против него переяславским протопопом Григо-

рием Бутовичем и моргнул усом и левым глазом по направлению к генеральному писарю Захару Шийкевичу, красномордому, с выпуклыми красными же глазами субъекту. Протопоп лукаво улыбнулся. Шийкевич заметил эту улыбку и насупился.

– А питья давать им указано, – продолжал дьяк, – по шести чарок вина двойного на день, да гетману же вопче – по десяти кружек меду паточного, да по ведру пива сладкого, да по ведру меду крепкого, да по ведру пива доброго на день. А старшине – по пяти чарок вина доброго, по две кружки меду сладкого, по две кружки меду крепкого, по четыре кружки пива доброго человеку на день. А людям их – по три чарки вина человеку, а лучшим людям – по две кружки меду да по две кружки пива человеку, а остальным по две кружки пива человеку на день.

Дьяк остановился. Все думали, что он уже кончил, а он только передохнул, высморкался и продолжал:

– А в постные дни рыбные ествы указано: гетману вопче – по щуке живой на пар, по одному лещу, по одному язю на пар, по одной щуке колодке, по щуке ушной спячей, по полузвену осетрины, по полузвену белужины, по шти гривенок икры на день и с старшиною. Старшине же – по лещику, по невеликому, по две щуки в уши, по два звена осетрины, по два звена белужины человеку на день. Людям же их: на триста блюд рыбы всякой свежей, шук, окуней, язей, плотиц, по два человека на блюдо...

В это время в палату, где кушали гетман со старшиною, вошел седой высокий боярин, а за ним степенные ключники внесли что-то на огромном серебряном подносе, покрытое тафтою.

– Есть до тебя, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, речь от великой государыни-царицы и великой княгини Марьи Ильишны, и вы б с местов встали, – провозгласил седой боярин.

Все встали. Все неволью с любопытством косились на это что-то, покрытое тафтою.

– Великая государыня-царица и великая княгиня Марья Ильишна, ее царское пресветлое величество, – продолжал седой боярин, возвышая голос и поднимая голову, – жалую тебя, войска запорожского сее стороны Днепра гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого с старшиною, изволила прислать вам от своего государского стола сладкого – лебедя сахар леденец, и вы б того лебедя рушили и на здоровье кушали.

И по мановению его ключники сняли тафту с подноса. На подносе оказался белый сахарный лебедь, грациозно изогнувший свою длинную шею. Лебедя поставили перед гетманом.

Церемонии с обедом тянулись очень долго, потому что кушаньев было необыкновенное количество. Когда, наконец, украинцы встали из-за стола, генеральный судья Забела, вообще большой охотник до «жарт»<sup>7</sup>, показывая переяславскому протопопу на свой почтенный живот, сделал такой жест руками, что, дескать, теперь у меня после московского угощения хоть железо на брюхе куй.

На это протопоп отвечал из Писания: «Не о хлебе едином жив будет человек» – и перекрестил свой рот, памятуя другое писание, что «не сквернит во уста, сквернит из уст».

---

<sup>7</sup> Шуток (укр.).

## VIII. Сватовство гетмана

Через день после приезда гетмана со старшиною в Москву был назначен прием их у великого государя. Прием был большой, почетный – посольский: это – небывалая честь для подданных.

Когда украинцы шли от благовещенской паперти к Грановитой палате, то перед сенями Грановитой, по красному крыльцу, уступами по обе стороны, стояли жильцы в терликах бархатных и обьяринных, человек с шестьдесят. А когда они подошли к самым сеням Грановитой палаты, под шатер, то в сенных дверях их встретили наряженные к тому стольник и дьяк.

Государь принимал своих чубатых гостей в Грановитой палате, сидя на своем «царском большом месте», на возвышении. Алексей Михайлович был в царском венце, в диадеме и со скипетром в руке. По бокам его стояли рынды, юные, свежие лица которых, не затемненные даже юношеским пушком на подбородках и над верхними губами, представляли что-то смягчающее, приветливое среди собрания седобородых и просто бородатых бояр, окольников и думных людей, сидевших на длинных скамьях неподвижно, угрюмо, словно истуканы, в своих золотых фerezях.

Гости были спрошены про здоровье с теми же церемониями, как и при встрече, но еще с большею торжественностью.

– Здорово ли есте живете? – прогремело после царского титула, так, что некоторые из украинцев вздрогнули, а веселый и жартливый Забела, если б его лично спросили, здоров ли он в этот момент, едва ли бы не сказал, что он нездоров – так что-то стало ему не по себе от этой пышной, подавляющей обстановки.

Затем повели их к целованию руки. Неровно, неуверенно двигались по ковру, словно бы ступали по горячим угольям, казацкие ноги в красных, голубых и желтых «сапьянцах», подходя к «большому месту»; одна за другой, припадая на колено, нагибались бритые, отливавшие синевой и сивизной, головы с хохлами и робко, пересохшими губами, прикладывались к лежавшей на бархатной подушке белой, мягкой и пухлой руке, на которой не заметно было даже жил. Забела, прикладываясь и боясь уколоть эту нежную руку своими щетинистыми усами, которыми он когда-то безжалостно колол розовые губки своей Гали, одно заметил на этой нежной руке – чернильное пятнышко сбоку первого сустава среднего пальца... «Это следы нового закона либо смертного приговора», – промелькнуло в бритой голове генерального судьи.

Потом являли гетманские поминки – представляли привезенные царю подарки: пушку полковую медную, отбитую у изменников казаков, булаву серебряную изменника наказного гетмана Яненка, жеребца арабского и сорок волов чабанских и лентах.

А потом откланивались, проходили по рядам новых бородачей, спускались с лестниц среди каких-то живых статуй и только тогда опомнились, когда на площади ярко блеснуло солнце и показалась синяя даль, тянувшаяся на юг, туда, где цветет красная Украина...

В это время мимо них проезжала богатая карета, запряженная шестеркою цугом. Окна кареты были завешаны пунцовой тафтой. Когда карета поравнялась с гетманом, тафта немножко отодвинулась с краю и из-за нее выглянуло женское личико с розовыми щеками и вздернутым носиком. Черные глаза гетмана встретились с глазами – не то серыми, не то черными, смотревшими из-за тафты, но такими глазами, что гетман невольно попятился...

– Ах, матыньки! – ахнуло это что-то за тафтой – и спряталось.

Гетману весь день потом мерещились эти глаза и слышалось это «ах, матыньки». Мерещилось и на другой день, и на третий, несмотря на то что дела у него было по горло, так что, наконец, Желябужский, состоявший в приставах при украинских гостях, заметил задумчивость гетмана и спросил о ее причинах. Они были наедине.

– Надумал я бить челом великому государю – только б кто мое челобитье государю донес? – нерешительно отвечал Брюховецкий, не глядя в глаза своему собеседнику.

– А о чем твое челобитье? – спросил Желябужский.

– Пожаловал бы меня великий государь – велел жениться на московской девке... пожаловал бы государь – не отпускал меня не жена, – отвечал гетман потупясь.

У Желябужского дрогнули углы губ, и голубые глаза его прищурились, чтобы скрыть ненужный и излишний блеск.

– А есть ли у тебя на примете невеста? – спросил он.

Гетман вскинул на него глазами, хотел было отвечать, но как бы не решался, потому что в это время у него так и пропело в ушах: «Ах, матыньки!»

– Так нет на примете? – переспросил пристав.

– На примете у меня невесты нет, – отвечал, наконец, застенчивый жених, глядя в окно.

– А какую невесту тебе надобно: девку или вдову?

– На вдове у меня мысли нет жениться... Пожаловал бы меня великий государь – указал, где жениться на девке.

Гетман замолчал. Ему, по-видимому, хотелось что-то высказать, но не хватило решительности, а Желябужский упорно молчал.

– Видел я одну – не знаю девка, не знаю мужняя жена, – когда выходил наемни из дворца, – начал наконец Брюховецкий. – Из кареты глядела...

– А! Занавесь – лазоревая тафта? – спросил пристав.

– Лазоревая.

– Знаю. То ехала сенная царицына девка, князя Димитрия Алексеича Долгорукова дочка... Глазаста гораздо?

– Точно, глазаста.

– Так она. Что ж! Девка хорошая и роду честного. Али приглянулась? – улыбнулся хитрый москаль.

– Приглянулась... лицом бела и румяна, – говорил гетман застенчиво.

– Что ж, доложусь великому государю: попытка не пытка, а спрос не кнут.

«Эка! – подумал гетман. – И пословицы-то у них, москалей, страшные какие – кнут да пытка».

– А женюсь, – продолжал он вслух, – стану я бить челом великому государю, чтоб пожаловал меня на прокормление вечными вотчинами поближе к Московскому государству, чтоб тут жене моей жить, и по смерти бы моей эти вотчины жене и детям моим были прочны.

Желябужский обещал доложить.

– А ты почему знаешь, что то была Долгорукова дочка? – спросил гетман.

– А наверху у царицы сказывали: испужалась, говорит.

– А чего нас пужаться? (Брюховецкий старался подлаживаться под московскую речь.)

– Уж такое ихнее девичье дело: коли девка испужалась добра молодца, ахнула – это знак, что он ей приглянулся: вот схватит-де да унесет, – улыбался пристав.

Гетману, видимо, нравились эти слова, и он с удовольствием крутил свой черный ус, сожалея только, что в нем пробивалась проклятая седина.

Но у Желябужского в уме было еще и другое. Он не знал только, как приступить к тому, зачем пришел и о чем хотел выпытать у Брюховецкого. Дело в том, что сегодня утром в малороссийский приказ привели одного человека, взятого караульными стрельцами в то самое время, когда он старался тайком уйти из посольского двора, где помещался гетман со своею огромною свитою. В то время в Москве из политической предосторожности наипристрашнейше было соблюдаемо, чтобы в бытность послов или других иноземных гостей на Москве никто из москвичей не ходил на посольский двор, кроме приставленных к тому приставов. Это делалось, конечно, из ложного страха, что эти посетители могут выболтать ино-

земцам какие-нибудь государственные тайны, или же, скорее, нагородить всякого вздору, или, в свою очередь, могут наслушаться от иноземцев какого-нибудь «дурна», а то и будут подкуплены ими для каких-либо интриг и всякой «неподобной вещи». Для этого в наказах приставам весьма пространно объяснялось, как они должны были вести себя с иноземцами, что делать, что отвечать на все их вопросы. И Желябужскому вменено было, между прочим, в обязанность:

«А буде гетман и старшина учнут тебя, Ивана, спрашивать: как-де ноне великий государь с цесарем римским и с турским салтаном, и с шахом персицким, и с крымским ханом, и с аглицким, и со французским, и с дацким, и со свейским короли, и с галанскими владетели? И тебе, Ивану, говорити: цесарь-де римской, и турецкой салтан, и персицкой шах с царским величеством в ссылке, послы-де и посланники меж ими великими государи ходят. А с крымским-де ханом ныне царское величество в миру жив ссылке; только бусурмане-де николи в своей правде не стоят».

«А буде спросят: есть ли-де у царского величества ссылка с папою римским? И тебе, Ивану, говорить: с папою-де римским у царского величества ссылки не бывало и ссылаться-де с ним не о чем».

«А буде учнут спрашивать о иных каких делах, чего в наказе не написано, и тебе, Ивану, ответ держати, смотря по делу, и говорить остерегательно, чтоб государеву имени было к чести и к повышенью, а в большие речи с ними не входить».

О всех приходящих на посольский двор Желябужскому было наказано: «А того беречь тебе, Ивану, накрепко, с большим остереганием: буде которые боярские люди или чьи-нибудь, русские или полоненники, или немцы, или кто из русских людей придут к посольскому двору и похотят итти на посольской двор, или кто с гетманом или его людьми тайно учнет о чем говорить, и тебе, тех людей пождав, как от двора пойдут, велеть поймать тайно и присылать в малороссийской приказ».

На этом основании утром и взят был один человек, который приходил зачем-то на посольский двор, и отведен в Малороссийский приказ для допроса. В приказе он, по-видимому, показал не все, а говорил, что просился у гетмана, чтоб гетман взял его с собою в Малороссию, что оттуда он хочет пройти к святым местам, но что гетман без царского указа взять его с собой не решается. Задержанный тем более показался подозрительною личностью, что называл себя патриаршим человеком и, в качестве родственника Никона, жил у него в монастыре в числе других детей боярских. Вообще дело это казалось слишком серьезным – делом большой государственной важности, чтоб не обратить на него внимания.

Вот это-то обстоятельство и нужно было выяснить Желябужскому. Своим полицейским нюхом он угадывал, что тут крылся подвох, тайна, что тут была подсылка со стороны страшного Никона, а для чего – этого от задержанного человека не могли добиться. В руки властей попала ниточка от какого-то большого клубка, и все убеждены были, что клубок этот – там, за стенами Воскресенского монастыря, и прикрыт патриаршим клубком; но ниточка обрывалась в самом начале, и до клубка по ней никак нельзя было добраться: обрывалась эта ниточка на посольском дворе, в палате самого гетмана.

И вот Желябужский пришел ловить у гетмана кончик проклятой нитки.

– А не докучают ли тебе, Иван Мартынович, московские люди? – заговорил он изда-лека.

– Чем они мне докучать могут? – с удивлением посмотрел гетман.

– А вон все глазают на вас, черкасских людей.

– А нехай их глазают, – равнодушно отвечал Брюховецкий, глядя в окно на улицу, на которой действительно толкались москвичи и, несмотря на то что стрельцы колотили их то кулаками, то прямо алебардами, пялили глаза на посольские окна.

– А то и к вам на двор лезут, – дальше закидывал пристав.

– Нехай лезут.

– А коли что своруют?

– Нет, мои хлопцы не дадут.

– Где не дать! Вон ноне взяли одного: сказывает, патриарший человек... к тебе-де, гетману, приходил... А кто его ведает, с чем он приходил.

– Это точно – приходил один: сказывал, что у святейшего патриарха живет, и просился со мной, а я ему сказал, что без указа великого государя того мне сделать немочно.

– И то ты, гетман Иван Мартынович, учинил хорошо, остерегательно, и за то тебя великий государь похвалит, – сказал Желябужский одобрительно. – А за каким делом он просился с тобой?

– Сказывал – на Афон гору похотел идти молиться да в Царьград, да к Гробу Господню.

– А не сказывал, что от патриарха?

– Не сказывал.

– Воровское он затеял дело, – сказал, помолчав, Желябужский. – Не своей он волей пришел, а патриарх его подослал под тебя.

– А для чего? На что я ему?

– Бог его ведает: у великого государя с патриархом остуда учинилась, патриарх с Москвы сшел самовольно, и того делать ему не довелось.

Гетман задумался. Он тоже сообразил, что Никон подсылал к нему своего родственника недаром; но с какою целью – он решительно не мог понять. Желябужский понимал более: он видел, что не в гетмане нуждался Никон, что главная цель патриархова посланца – выбраться под покровом гетмана из Москвы; следовательно, у патриарха составилась какой-то план, осуществление которого возможно было вне пределов Московского государства. Желябужский, таким образом, напал на след, и по этому следу он надеялся, рано ли, поздно ли, найти то, чего он искал: это-то и должно было совершиться посредством разматывания клубка, который всех беспокоил.

– Так испужал девку? – улыбаясь спросил он, докончив нить своих размышлений.

– Испужалась, точно, так и ахнула, – отвечал гетман, тоже улыбаясь.

В тот же вечер во дворце, на царицыной половине, говорили, что гетман сватается за Оленушку, княжну Долгорукую, дочь князя Дмитрия Алексеича. Сватовство это произвело необыкновенный переполох на женской половине. Видано ли, чтобы московская боярышня выходила замуж за черкашенина! Да этого не бывало, как и свет стоит. Между тем слышно, что сам царь был сватом и что отец невесты дал свое согласие.

– А что она, голубушка? – спрашивала Морозова, ученица и поклонница Аввакума, находившаяся в то время в своей мастерской палате вместе с неразлучною своею сестрою, княгинею Урусовою. – Что Оленушка? – волновалась хорошенькая боярыня, обращаясь к утконоподобной Авдевне, мамушке царевны Софьи.

– Поплакала маленько, родная, – нельзя же, – отвечала мамушка.

В это время вошла в палату, где работала Морозова с сестрой, та самая хорошенькая рожица, что во время шествия гетмана со старшиною из дворца выглядывала в окно кареты из-за пунцовой тафты. Рожица казалась заплаканною. Большие, светлые, не то совсем черные, не то серые глаза несколько поприпухли. Морозова бросилась к ней и обняла ее.

– Здравствуй, моя глазунья дорогая! – нежно сказала она. – Чтой-то они у тебя, камни-то самоцветы, кажись, заплаканы? – спрашивала она, целуя в глаза пришедшую. – Асиньки?

Пришедшая снова заплакала, уткнувшись носом в плечо Морозовой.

– Ну, полно же, полно, светик! – утешала она. – Мы слышали судьбу твою... Что ж – суженой! А ты только, Оленушка, Богу молись...

– Стерпится – слюбится... На то хмель, чтоб по дубу виться, – философствовала мамушка, – на то дуб, чтоб хмелинушку держать.

Заплаканная девушка, утерев рукавом белой сорочки слезы, улыбнулась.

– Да ты-то его, Оленушка, видела? – спросила Урусова, подходя к ней.

– Видела, сестрица, – отвечала та.

– Ой ли! где? когда?

– Онамедни... ехала я от батюшки сюда, – начала было девушка и остановилась, потому что на глазах ее опять показались слезы.

– Ну, ехала? – подсказывала ей Морозова.

– Ехала это я... а они идут... от великого государя шли... руку целовали... А я ехала. Оленушка опять остановилась.

– Да сказывай же, глазунья! – настаивала Морозова. – Ехала да ехала!

– Ехала я, а они идут...

– Слыхали уж это!

– А я выглянула... а он на меня...

– Ох, батюшки! – испуганно шептала Урусова.

– Ну-ну! Не мешай ты, Дуня, – волновалась Морозова.

– Он и увидал меня.

– А ты его?

– И я его.

– Ну, какой же он из себя?

– Я со страху и не разглядела... черный... бритый... глаза...

– А сказывают, он своей земле, у черкас, все одно что царь, – заметила Урусова.

– И батюшка сказывал, – подтвердила Оленушка.

– А каким крестом он крестится, милая? – спросила серьезно Морозова.

– Батюшка сказывал, что по-нашему, – отвечала невеста.

– Ой ли, светик! – усомнилась Морозова. – Вон протопоп Аввакум сказывал, что они, черкасы-то, шепотью крестятся.

– А как же у них, в Киеве, угодники-то печерские почивают? – усомнилась со своей стороны Урусова. – Коли бы они были не нашей веры, у них бы угоднички не почивали.

– Так и батюшка сказывал, – подтвердила Оленушка.

Видно, что «батюшка» для нее был авторитет неоспоримый: что сказал отец – то свято и верно. Притом же и само сердце подсказывало ей, что не в шепоти дело. Оно билось и страхом чего-то неведомого, и какою-то тайною радостью. Да и то сказать: гетман был и не страшен, как сразу ей показалось; она ахнула от нечаянности и стыда: шутка ли, мужчина, да еще черкашенин, увидал девку на улице! и девка глазела на него – срам да и только! А она успела заметить, что этот черкашенин молодцом смотрит, – такие усы, да бороды нет; а то все бояре, которых она видела, – все бородатые, и все на батюшку похожи... Только одно страшно – сторона далекая, незнакомая...

И в голове Оленушки сама собой заняла горькая мелодия свадебного причитания по русой косе:

Уж вставайте-ко, мои подруженьки,  
Уж вставайте-ко, мои лебедушки,  
Заплетите-ко мне русу косыньку,  
Русу косыньку, мелку-трубчату,  
Не во сто мне прядей и не в тысячу,  
Заплетите мелку-трубчату,  
Уж впервые ли и в остаточки...

И Оленушка снова заплакала, закрыв лицо белым рукавом.

В комнату вбежала маленькая царевна и бросилась к Морозовой.

– А я все уроки выучила и больше выучила, как Симеон Ситианович мне задал, – радостно говорила она. – Завтра он меня похвалит.

– Вот и хорошо, государыня царевна, – отвечала Морозова, лаская бойкую девочку.

– Ну, так теперь и пастилы можно дать?

– Можно, можно.

Увидав заплаканные глаза у Оленушки, царевна бросилась к ней.

– Ты об чем, Оленушка, плакала? – спросила девочка.

Оленушка не отвечала, а только смущенно опустила голову. Маленькая царевна вопросительно посмотрела на свою мамушку.

– Это ты ее? – спросила она.

– Чтой-то, царевнушка! все я да я! – защищалась толстуха. – Оленушку замуж отдают.

– Замуж! за кого?

– Вон за того гетмана, что онамедни у батюшки царя ручку целовал.

– А! я его видала с переходов – точно лях. – И девочка с участием подошла к Оленушке...

– Не плачь, Оленушка, – сказала она, – вон Симеон Ситианович рассказывает: у них, у черкасов, говорит, лучше жить – веселее...

В это время кто-то торопливо говорил у дверей:

– Государыня-царица, государыня-царица идет...

## IX. Смута в Соловках

Таким образом, ни 11 сентября, ни последующие затем дни, на которые Никон возлагал тайные надежды, не оправдали этих надежд. Подосланный им к гетману верный человек, Федотка Марисов, двоюродный племянник патриарха, воротился ни с чем. Федотка не только не убедил гетмана взять его с собою, но своим появлением на посольском дворе возбуждал серьезные подозрения властей, и хотя ничего лишнего не сказал на допросе в малороссийском приказе, однако накиннул сильную тень на самое поведение патриарха. При всем том Никон не падал духом и не терял надежды. Природа наделила его слишком большою живучестью – живучестью мощного духа, а железная воля закалилась с детства, крепчая год от году с того самого момента, когда его, голодного, холодного и босого ребенка, злая мачеха столкнула в погреб и когда он, наэлектризованный фанатическою проповедью желтоводского старца, наложил на себя обет сурового подвижничества. Дойдя потом на своих собственных ногах до высочайшей ступени человеческой власти, он сам уверовал в providentialность своей судьбы над Русскою землею и глубоко веровал, что не люди, а только Бог, возведший его на эту превысочайшую степень, и может свести его оттуда Своею десницею или возвести еще выше. Он ждал только указания свыше – и указанием этим он считал перст Божий, который прошлую зиму в виде звезды хвостатой грозился на кого-то с неба. Но на кого? Никон глубоко верил, что не на него, а на его врагов.

Поэтому и неудача у гетмана не отняла у него надежды. Он понял только, что providение повелевает ему ждать. И он ждал, но ждал не пассивно, что было не в его натуре. День за днем, при посредстве своих монахов и тайных друзей, он следил за всем, что делалось в Москве. Он видел, что там ждали чего-то и в ожидании занимались текущими делами. Гетман все оставался в Москве, сватался, а потом собирался жениться. Следовательно, раньше следующего года или раньше Святков нельзя было и думать о его выезде в Малороссию.

Дни тянулись за днями, как те тяжелые, свинцовые и холодные тучи, которые ползли на востоке и которые созерцал патриарх, ходя по переходам своих келий и поглядывая иногда на пустое ласточкино гнездо. «Придет снова весна, и оно будет не пустое», – думалось ему, и при этом само собой это черненькое птичье гнездышко сопоставлялось с покинутым в Москве Патриаршим престолом, который теперь тоже пуст, но для которого, как и для гнезда ласточки, снова наступит весна, и он не будет сиротствовать.

Неприятно волновали его другие вести, приходившие из Москвы. По этим вестям можно было думать, что там опять начинают поднимать голову те силы, которые Никон считал давно сломанными его мощною рукою, далеко рассеянными и присыпанными морозною пылью далекой Сибири: поднимали голову эти Аввакумы, Лазари, эти Никиты-пустосвяты, которые плевали на труды целой жизни Никона, отрепьями старины забрасывали работу рук его, кричали на всю Москву о возврате к старому. И Москва, по-видимому, возвращалась к старому, отворачиваясь от дела Никона и от него самого. За Аввакумом уже ходили толпы народа, жадно слушая его неистовые кричания и лай на Никона. Голос Аввакума доходил до палат боярских. Боярские и княжеские жены шли за Аввакумом, как за пророком. Морозова и Урусова – царицыны любимицы – стали духовными дочерьми Аввакума. А Никон забывается.

И не одна Москва с голоса Аввакума лает на Никона и на его работу: по всей Русской земле завелись свои Аввакумы. Аввакумы проникли и в Соловки: и там не хотят принимать новых книг, напечатанных Никоном. А Соловки – это вечевоу колокол всей старой Руси.

Возвращавшиеся из Соловков богомольцы сказывали, что соловецкие старцы в один голос кричат:

– По святой Руси ходит ересь пестрозвериная: опестрил тою ересью Никона Арсентий грек, а Никон опестрил ересью все книги, всю Русскую землю. Он-де сам в Успенском соборе каялся народу: окоростовел-де я коростою ереси, и та короста от меня паде на вас, и вы все окоростовели от меня.

Действительно, в Соловках было далеко не спокойно. Волнения начались там еще в 1657 году, когда Никон был на патриаршестве. В Соловки присланы были новые богослужебные книги никоновского издания. Слухи о присылке «новых» книг произвели такое смятение в стенах монастыря и по всем его усольям, как будто бы на святую обитель напала орда и хочет монастырь разрушить до камня, а братию истребить до последней ноги. Ввиду такого страшного дела архимандрит созвал «черный собор». У всех на лицах выражались ожидание и страх.

Вынесли книги, положили на стол.

– Смотрите, отцы и братия, каковы книги, – взывал архимандрит, – а я уже стар и слеп: может, чего не догляжу.

Заскрипели и защелкали медные застежки книг под грубыми ладонями иноков, более привыкших рыбу солить да дрова рубить, чем книги перелистывать. Зашуршала новая толстая бумага под непривычными пальцами. Роятся старцы, усердно, до поту роятся – и литеры-то новые, без загогулин и завитков, и титлы-то кривобоки, и заставки-то с киноварью не те, и все не на своем как будто месте, не знаешь, где его искать, как и читать: то «Отче наш» не на своем месте, то в «Богородице» буки не с такою заставкою, то «Помилуй мя Боже» не отыщешь – застряло где-то. Беда, да и только! В старых книгах знаешь, где что искать, – листы сами открываются там, где захочешь: нужно тебе «Блажен муж» – он тут как тут, понадобилось «Вскую шаташася» – и оно под рукой. А тут ищи его, а коли найдешь, так не прочтешь – литеры не те, новые, и ижица не та, и фита с какими-то лапками...

– Отцы и братия! – кричит один инок. – В Символе веры, чу, аз выкинули!

– Этого нельзя! Эти книги не годятся: латынские они! – кричит другой.

Черный собор заволновался. Выступили ученые старцы, попы и дьякона.

– Отцы и братия! Стойте на старых книгах. По ним мы учены и к ним привыкли, а к новым поздно привыкать.

– Поздно! поздно! Мы, старики слепые, и по старым книгам очередей своих недельных держать не сможем, а по новым-то на старости лет учиться не можем, да и некогда: что учено было, и того мало видим, а по новым книгам нам, чернецам косным, непереимчивым и грамоте ненавычным, сколько ни учиться, не навыкнуть.

– Долой новые книги! – кричала братия.

– В огонь их, в море!

– Помолчите, отцы и братия! – завопил новый оратор, выступая из толпы. – Дайте слово сказать. Послушайте вы меня, старого: коли попы станут читать и петь по новым книгам и мы от них причащаться не будем – помрем и так, а вере не изменим. А коли на отца нашего, на архимандрита, придет какая кручина либо жестокое повеление, и нам всею братьей бить за него челом своими головами, стоять всем за одно до смерти.

– Ладно! Стоять до смерти! – заревел черный собор. – Не выдавать архимандрита!

Архимандрит стоял у стола, положив дрожащую руку на книгу новой печати. По впалым и сморщенным щекам его катились слезы.

– Братия и все православные христиане! – говорил он дрожащим голосом. – Видите, братия, последнее время: встали новые учителя и от веры православной, и от отеческого предания нас отвращают и велют нам служить на ляцких крыжах по новым служебникам. Помолитесь, братия, чтоб нас Бог сподобил в православной вере умереть, как и отцы наши! А я на то пошел – умру за святой аз.

Черный собор заревел почти в один голос:

– Нам латынской службы и еретицкого чина не надо! Не принимаем! Причащаться от еретицкой службы не хотим и тебя, отца нашего, не выдадим!

Два-три голоса возвысились было в пользу новых книг.

– А! – застонал черный собор. – Хотите латынскую еретицкую службу служить! Живых из трапезы не выпустим!

Новые книги так и не были приняты. В 1666 году, когда Никон, сидя в Воскресенском монастыре, томился ожиданием и неизвестностью, из Москвы послан был в Соловки Спасского ярославского монастыря архимандрит Сергей с царским указом, грамотами и наказом архиерейского собора – привести соловецкую братию к повиновению. Сергей собрал черный собор, предъявил указ и грамоты. Невообразимый шум и крики заглушили его слабый голос.

– Указу великого государя мы послушны и во всем ему повинемся! – выделились отдельные голоса из толпы. – А повеления о Символе веры, о сложении перстов, о аллилуйе и новоизданных печатных книг не приемлем.

На скамью встает сам архимандрит соловецкий, старый Никанор. Его поддерживают чернецы, чтобы он не упал. Никанор поднимает руку высоко над своею головой, складывает три первые пальца и кричит неистово:

– Смотрите! это учение и предание латынское, предание антихристово! За два перста я готов пострадать! Ведите меня на муку! Да у вас теперь и главы нет – патриарха, и без него вы не крепки! Горе вам! Последние времена пришли!

Голос его оборвался. Он задрожал и с трудом был снят со скамьи. Он дико озирался по сторонам, как пьяный, бормоча: «Умру за два перста... умру за святой аз...»

Сергий, ошеломленный воплем старого фанатика, обращается к собору и просит выбрать кого-нибудь одного.

– Со всеми разом говорить нельзя: меня закричат.

– Геронтий! Геронтий! – раздалось со всех сторон. Выступил Геронтий, высокий, сухой чернец. Глаза его искрились, в широких скулах и в прикушенной бороде виделось что-то упрямое, задорное. Выступил он с таким угрожающим лицом и с такими жестами, словно бы шел на кулачки.

– Зачем вы у нас Сына Божия отняли? – сразу накинулся он на Сергия.

Сергий испуганно отступил назад, не понимая, о чем его спрашивают.

– Зачем вы в молитве «Господи Иисусе» отъемлете «Сына Божия»? – продолжал оратор, наступая на оторопевшего посланца царского. – Зачем вы...

Но толпа не дала оратору продолжать: она одно поняла – что с ними делают что-то страшное. «Сына Божия» отнимают.

– Ох! ох! горе нам! – послышался страшный вопль дикарей. – Ох, горе! отымают у нас «Сына Божия»!.. Где вы девали «Сына Божия»?

Когда крики несколько утихли, Сергей хотел было подойти к Геронтию, но тот неистово закричал:

– Не подходи!.. покажи прежде, каким крестом крестишься, и тогда уж и учи нас!.. Допрежь сего от Соловецкой обители вся Русская земля всяким благочестием светилась, и ни под каким зазором Соловецкий монастырь допрежь сего не бывал, но яко столп и утверждение и светило сиял. А вы теперь от греков новой вере учитесь, а греческих архиереев самих к нам в монастырь под начал присылают: они и креститься-то не умеют – мы их самих учим, как креститься.

По собору пронесся гул одобрения. Сергей видел, что почва под ним колеблется, что не сломить ему сурового противника, – и он прибег к страшному средству, после которого должны уже были заговорить пушки, а не люди.

– Великий государь царь Алексей Михайлович благоверен ли, благочестив ли, и православен ли, и христианский ли царь? – спросил он.

В свою очередь, Геронтий перед этими страшными словами отшатнулся было назад, но, увидев устремленный на него взгляд старого Никанора, выпрямился и тряхнул волосами.

– Великий государь царь Алексей Михайлович благоверен, благочестив и православен, – отвечал он, обводя собрание глазами.

– А повеления его, которые к вам присланы, православны ли? – настаивал неумолимый посланец.

Даже Геронтий на эти страшные слова не знал, что отвечать: как волк, прижатый к стене, он растерянно оглядывался, ища взгляда Никанора. Но Никанор смотрел в землю и упрямо мотал головою.

– Освященный собор православен ли? – продолжал пытаться Сергей.

– Допрежь сего патриархи были православны, а ныне, Бог весть – потому живут в неволе, а российские архиереи православны, – с трудом отвечал Геронтий.

– А которое к вам прислано соборное повеление – и оно православно ли?

– Повеления соборного не хулим, а новой веры и учения не приемлем, держимся предания святых чудотворцев и за их предания хотим все умереть, – был последний ответ старцев.

Сергей вышел из собора, окруженный монастырским караулом, словно арестант. Ему не позволяли даже в монастыре ночевать, а вместе с прибывшими с ним из Москвы посланцами вывели на остров и посадили под стражу. Когда его выводили из монастырских ворот, то собравшиеся там из окрестных усадеб и поселков мужики громко говорили:

– Которые московские стрельцы теперь здесь в монастыре, и тем мы свой указ учиним, – перебьем и перетопим, и которые за монастырем в ладьях, и тех перетопим, будто морем разбило... Всех побьем камнем, потому посланы они от антихриста прельщать нас.

На соборе между тем, в трапезе, готовилось челобитье к царю. Когда оно было кончено, Геронтий встал на скамью и начал громко читать.

– Бьют челом богомольцы твои государевы: Соловецкого монастыря келарь Азарий, бывший Саввина монастыря архимандрит Никанор, казначей Варсонофий, священники, дьяконы, все соборные чернецы, и вся братия рядовая и больничная, и служки и трудники все. Прислан с Москвы к нам архимандрит Сергей с товарищи учить нас церковному преданию по новым книгам, и во всем велят последовать и творить по новому преданию, и предание великих святых апостолов и святых отец семи Вселенских соборов, в коем прародители твои государевы и начальники преподобные отцы Зосима и Савватей и Герман, и преосвященный Филипп митрополит пребывали, ныне нам держаться и последовать возбраняют. И мы, худые богомольцы твои и холопишки, чрез предания святых апостолов и святых отец священные уставы и церковные чины пременять не смеем, понеже в новых книгах выходу Никона патриарха, по которым нас учат новому преданию, вместо Иисуса нашего с приложением лишней литеры Иисус, чего страшно нам, грешным, неточию приложити, но и помыслити...

– Ох! – послышалось в толпе. – Иже приложили ко Иисусу... Ох, страшно!..

– Ох! ижем Христа прободали в ребра: иже есть копие! – провозгласил Никанор.

– Милостивый государь! – продолжал, воодушевляясь и потрясая в воздухе челобитною, Геронтий. – Помилуй нас, нищих своих богомольцев и холопишек, не вели архимандриту Сергию прародителей твоих и начальников наших, преподобных Зосимы, Савватея, Германа и Филиппа, предания нарушать и вели, государь, нам в том же предании быть, чтоб нам врозь не разбрестись и твоему богомолию украинному и порубежному месту от безлюдства не запустеть.

– Припиши, – кричал Никанор, – за предание-де великих чудотворцев готовы мы с радостью наглую смерть принять, и многие-де старцы, готовясь на тот вечный путь, пошмились...

– Припиши! припиши! – подтвердили десятки голосов.

– Еще припиши, – настаивал упрямый Никанор, – вели-де, государь, на нас свой царский меч прислать и от сего мятежного жития преселити нас на оное безмятежное и вечное житие!

В таком положении стояли дела на далеком севере, когда Никон, которого считали виновником всех этих небывалых и неслыханных дотоле церковных смут, охвативших не только соловецкое поморье, но и Москву, где народ, торговые люди и бояре почти все отшатнулись от духовных властей своих, а Аввакум до ослепления разжигал народные страсти своею жгучею проповедью, – когда Никон вдруг узнал, что в Москву прибыли гости, которых он всего более боялся. Это были Вселенские патриархи – Макарий Антиохийский и Паисий Александрийский, он же и «судия вселенной».

Наступил суд над Никоном.

## Х. Суд над Никоном

Первого декабря 1666 года, едва лишь багровое солнце сквозь искристую морозную мглу осветило островерхие крыши кремлевского дворца и брызнуло золотом по маковкам церквей и по разрисованному морозом стеклу дворцовых окон и стеклянных переходов, как уж во дворце, в столовой избе, собрался небывалый дотоле и после того в России Вселенский собор – царь, два патриарха, митрополиты, архиереи и весь синклит духовных и светских властей. Алексей Михайлович сидел на своем государевом месте, на небольшом возвышении, под сению золотого двуглавого орла, на крыльях которого играло пробившееся сквозь льдистые кристаллы окна утреннее солнышко, золотя в то же время левый, уже посеребрённый редкою седью висок и часть заиндевевшей тою же назойливою седью русой, мягкой, как шемаханский шелк, бороды. Тишайший царь сидел задумчиво, глубоко сосредоточенно и так неподвижно, что его можно было принять за иконописное изображение, если бы тихое, равномерное поднятие и опускание висевшего на его груди большого золотого креста не изобличало, что эта грудь дышит. Подле него, по левую руку, в глубоких, с высокими резными спинками креслах сидели патриархи. У ближайшего к царю, высокого, худого и согбенного годами, темно-пергаментное лицо смотрело из-под надвинутого до бровей клобука не как лицо, а как лик на старом полотне, выцветший от времени, тронутый непогодью и копотью от свечей и ладана. Неровные пряди волос желтоватой седины и белая борода, освещенные косыми лучами солнца, несколько дрожали на черном фоне клобука и панагии, производя странное впечатление – как будто бы волосы эти дрожали на мертвом теле от постороннего дыхания, тем более что и глаза сидящего, глубоко опущенные, казались закрытыми тонкою, синеватою кожицею век, с которых, казалось, только что сняты были медные гроши – принадлежность новопреставленного. Это был Паисий, патриарх Александрии и всего Египта – некогда земли фараонов. Рядом с ним в таком же кресле восседал Антиохийский патриарх Макарий. Черные, курчавые, перевитые седыми прорезьями, как серебряною тонкою нитью, волосы, черная, курчавая, как давно не стриженная баранья шерсть, с проседью борода, большие синеватые белки черных, подвижных глаз с длиннейшими ресницами, темно-оливковый цвет лица – все изобличало в нем восточного человека, которого как-то странно было видеть не на берегу Иордана где-нибудь или Мертвого моря, а на берегах Яузы, среди чисто московских лиц и в этой типичной обстановке.

С правой стороны царя, на застланных сукнами скамьях сидели митрополиты, архиереи и весь Освященный собор. Черные клобуки, надвинутые на худые и строгие лица, черные рясы, кресты и четки – все это смотрело мрачно и внушительно, как картина Страшного суда. Тут и Сергей Спасо-Ярославский, которого мы недавно видели на «черном соборе» в Соловках, и Павел Суздальский, и Павел Сарский, и Питирим Новгородский.

По левую сторону от царя, на скамьях же, бояре, окольные и думные люди – все, что заправляло Московскою землею от Пскова до Албазина на Амуре, от Соловков до южного рубежа русской, все шире и шире разлетавшейся территории. Тут были лица большею частью хорошо упитанные, гладкие, бородатые.

За особым столом – дьяк Алмаз Иванов. Горы бумаг, книг и потемневших от времени свитков почти всего его закрывают собой. И лицо его, такое же желтое, как эти свитки, смотрит спокойно, только изредка шуряются его усталые глаза, перечитавшие все эти горы бумаги и перенесшие в его глубокую, как бездонная пропасть, память тысячи мельчайших подробностей дел, статей разных, уложений, указов, отписок, справок, памятей. Худыми, привычными пальцами он держит белое как снег гусиное перо и неслышно водит им по бумаге.

Тихо в избе. Собор ждет кого-то. Кого же больше ждать, как не того, кого собрались судить вселенне! В полночь он въехал в Москву и проследовал в Кремль Никольскими воро-

тами, которые тотчас же за ним и заперли, поставив сильную стражу и разобрав даже мост, соединявший эти ворота с городом. Так вот какого страшного подсудимого ждет Вселенский собор!

Скоро за дверями столовой избы послышались чьи-то ровные, сильные шаги. Звякнули алебарды стрельцов, стоявших у входа. Какое-то невольное движение, словно дрожь, прошло по собору, как будто бы в тихий ясный день по безоблачному небу пронеслось облачко и провело бегучую тень по высокой траве. Глаза всего собора обратились к входным дверям – обратились с каким-то страхом, полные ожидания. И глаза царя блеснули неувлимым светом, и закрытые веками глаза Паисия патриарха открылись, словно бы икона глянула с темного полотна человеческими глазами, и глаза дьяка Алмаза Иванова поднялись от бумаги.

Двери распахнулись широко, на обе половинки, чтобы пропустить что-то большое. Это было распятие, несомое перед патриархом. За распятием вошел и тот, кого звали на суд. Невольная дрожь прошла по собору, когда увидели того, кто вошел. Это был все тот же прямой, суровый на вид, массивный человек, которого так часто когда-то, около десяти лет назад, видела Москва на всех торжественных служениях, в церковных ходах и в царской думе и перед взором которого все склонялось и трепетало; тот же повелительный вид, те же повелевающие глаза, только по всему этому прошло что-то разрушительное, пригибающее к земле, вытравляющее живой цвет лица, задувающее огонь глаз, обесцветившее до седины вороненый волос головы и бороды.

В добрых глазах царя блеснула жалость – веки задрожали... Это ли его бывший «собинный» друг, его любовь и гордость!..

При виде распятия и вошедшего за ним подсудимого весь собор стал на ноги.

– Владыко Господи Боже наш! Благослови вход раба Твоего и отверзи уста его, да возвестят хвалу Твою – всегда, ныне и присно и во веки веков! – громко возгласил вошедший.

Потом, обратясь лицом к царю, он поклонился ему до земли. Царь испустил глубокий вздох, увидав, как у поклонившегося ему разметались по полу поседевшие волосы. Поклонившийся встал и, откинув назад упавшие ему на лицо волосы, вторично припал клобуком к царскому подножию. Царь крепко стиснул челюсти, чтобы не заплакать. Поклонившийся, приподнявшись вторично от полу, в третий раз поклонился.

Сделав полуоборот к патриархам, он и им поклонился до земли дважды. За всеми его движениями жадно следили глаза всего собора, а узкие серые глазки Питирима, митрополита Новгородского, каждый поклон Никона сопровождали злорадным блеском.

Когда Никон поднялся, наконец, от полу, расправляя волосы, на лицо его, бледное и бесцветное, как у арестанта, набежала краска. Патриархи, в свою очередь, глубоко нагнули головы, а потом глазами указали на лавку, по правую сторону государева места.

Глянув в ту сторону, Никон сразу понял, что его приравнивают к простым архиереям, что особого места для него не приготовили. Зловещая искра блеснула в его глазах.

– Я места себе, где сесть, с собою не принес... Разве сесть мне тут, где я стою, – сказал он хрипло, с дрожью в голосе, и оперся на свой посох, глядя прямо в глаза государю.

И добрые глаза последнего блеснули: та искра, что зажглась в глазах у Никона, зажглась и у царя. Питирим незаметно толкнул локтем соседа своего, Павла, митрополита Сарского, и указал глазами на то, что происходило впереди. Перо дьяка Алмаза Иванова закрипело по бумаге, спеша запечатлеть чернилами навеки этот исторический момент.

– Пришел я узнать, для чего Вселенские патриархи меня звали? – продолжал подсудимый тоном допрашивающего, тоном судьи, и снова вопрошающе посмотрел на государя.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.